

ДВОРЯНЕ СМОЛЕНСКОГО КРАЯ

Понятие «смоленский дворянин» не исчерпывается географическим смыслом. В сознании россиян прошлого века слова эти были связаны с целым рядом исторических, психологических, бытовых ассоциаций, обозначали особый и весьма своеобразный тип провинциального барства. Некий краснинский помещик, автор публиковавшихся в «Русской старине» анонимных мемуаров, не без удивления вспоминает, как в пору его учебы в Московском университете попечитель Назимов с первого знакомства стал называть его почему-то не иначе как «смоленским дворянином». «Должно быть, смоленские дворяне в самом деле особо обратили на себя его внимание», - заключает мемуарист.

А вот как описывается прибытие нашего земляка на почтовую станцию и его бытовые привычки в одном из «физиологических очерков» И. Т. Кокорева - близкого славянофилам бытописателя 1840-х годов: «С громом и треском катит по двору двухсаженный тарантас, нагруженный смоленским помещиком с дочерью-пансионеркою и прислугою, перинами, ларцами, сундуками, узлами, кардонами и всякою всячиною. Раздаются приказания за приказаниями, хозяин смотался с ног, дым идет коромыслом по всему двору. Не любит наш барин ездить налегке и требует, чтобы на стоянке был у него такой же комфорт, как дома. Остановился где, так уже и закусит вплотную, и отдохнет, и на флейте, по драгунской привычке, посвистит, и чаю накушается всласть». Да не простого чаю, а обязательно с чем-нибудь покрепче и поизысканнее - с ямайским ромом, например, который всегда и повсюду у барина под рукою.

Представление о смоленском дворянине подразумевало некую претензию на культуру и светскость, повышенное чувство собственного достоинства, чести и патриотизма, шляхетские самолюбие и пылкость, не всегда, правда, обеспеченные необходимым материальным достатком, поскольку помещики здешние были, как правило, людьми весьма и весьма небогатыми.

Чтобы яснее представить, о чем идет речь, каков был и как сложился тип «смоленского дворянина», лучше всего обратиться к его истории.

Наряду с Киевом и некоторыми другими старинными восточнославянскими городами Смоленск всегда рассматривался как один из первоисточков русской знати, дедина и отчина многих именитых родов. На здешнем княжеском престоле сидели, как правило, знаменитые Рюриковичи, потомки Владимира Мономаха, и власть их нередко простиралась и на вечерней Новгород, и на полоцкое, витебское, а то и киевское княжества. Кроме того, под рукою смоленского суверена временами находилось до полутора десятков менее значительных удельных властителей: князей брянских, друцких, можайских, дорогобужских...

От старшей ветви смоленского дома пошли влиятельные князья Вяземские, связаны с ним князья Татищевы, Курбские, Шаховские, Кропоткины, Дмитриевы-Мамоновы и др. Здесь впоследствии находились обширные владения бояр Захарьиных-Кошкиных, с которыми связана царская династия Романовых, бояр Шеиных, Годуновых, Ордин-Нащокиных, Шереметевых, Салтыковых. И к началу XX века в составе смоленского дворянства мы видим представителей таких заслуженных родов, как Голицыны, Головины, Долгоруковы, Мещерские, Оболенские, Лобановы-Ростовские, Уваровы, Урусовы и др.

Репутация смоленской знати всегда стояла очень высоко, прикосновенность к нашей древней земле и ее героической истории почиталась за честь для людей самого аристократического положения. И все же не эти титулованные семьи, державшиеся обычно в стороне от основной массы, определили в конце концов характер, образ и тип смоленского дворянина, т. е. обыкновенного здешнего помещика средней руки. Его физиономия и попроще, и поразнообразнее. Ибо за много веков на великорусский ствол здесь были привиты другие, генетически подчас очень неожиданные ветви.

На заре русской истории ни варяги, ни даже татары не смели напрямую «воевать» Смоленск. Но вот с XV века на смоленскую землю одна за другой начинают накатываться

разноплеменные волны, оставляя на ней при каждом отливе и смене власти какое-то число новых, пришлых людей: литвинов, московитов, поляков, а то и вовсе представителей редкостных пород из каких-то тридевятых царств, тридесятых государств. Так, со времен Ивана Грозного сюда начинают просачиваться — главным образом через Ливонию — потомки германских и даже нидерландских рыцарей: Гернгроссы, Эльснеры, Энгельгардты, Эттингеры и др. В XVII веке переходят под Смоленском на русскую службу и оседают здесь шотландцы Лесли, Клайшясы, Реады... Был среди них тогда и некий Георг Лермонт, потомок которого станет великим русским поэтом. Все эти пришельцы, прежде чем раствориться в океане российского бытия, вносили, конечно же, свою лепту в местный житейский уклад, в характер, язык и культуру своих новых земляков. «Здесь был край Ойкумены Запада и начало ее для Востока, — справедливо говорит об этой особенности любимой им смоленской земли писатель Борис Васильев. — Здесь искали себе убежища еретики всех религий».

Самый мощный слой нового дворянства осел на Смоленщине в результате длительных, шедших с переменным успехом русско-польских войн первой половины XVII века, которые в конце концов привели к поражению Речи Посполитой и окончательному возвращению смолян в Россию. «Тишайший» царь Алексей Михайлович при этом не стал неволивать и притеснять прижившуюся на Смоленщине за полвека польско-литовско-белорусскую шляхту, напротив: при условии лояльного отношения к Москве она сохраняла за собой свои прежние права и «маетности» (вотчины). В полное распоряжение польских выходцев русский царь отдал тогда целые обширные уезды - там даже запрещалось приобретать имения и селиться «людям московского чина». Вот почему в родословных книгах местного дворянства мы видим целые россыпи фамилий с окончаниями -ицкие, -инские, -евские, -овские, -евичи, -овичи.

С той поры становятся широко известными у нас семьи Рачинских, Кашталинских, Вонярярских, Верховских, Каховских, Глинок, Людоговских, Пенских, Колечицких, Тумило-Денисовичей, Повало-Швыйковских, Цевловских и многих других, а все здешнее дворянство начинают именовать не иначе как «смоленскую шляхтой» (в ряду с могилевской, витебской и др.). И в российский обиход входит когда-то распространенное присловье: «Смоляне - польская кость русским мясом обросла».

«Обрастание русским мясом», впрочем, проходило совсем не просто, даже болезненно и наполнило национальными, религиозными и психологическими коллизиями жизнь многих семейств и поколений. Несмотря на упорные русификаторские усилия московских властей и местной администрации (запрет на католическую пропаганду, преследование иезуитов, требование учить детей только у русских наставников и ни под каким предлогом не посылать их в Польшу, ссылки ослушников в Сибирь и др.), на Смоленщине еще долго слышится польская речь, держатся западные бытовые традиции, обряды, одежда.

В ответ на давление из Москвы вопреки ему устанавливается неписаный обычай заключать браки только с людьми своего, шляхетского круга, так что с течением времени полгубернии оказывается переплетенной разными родственными узами. «Еще совсем недавно, - вспоминает вышедшая из семьи поречского помещика писательница Е. Н. Водовозова, - если уроженцы Смоленской губернии встречались друг с другом, они немедленно задавались вопросом, не состоят ли они в родстве между собою. В конце концов обыкновенно выходило так, что они действительно оказывались хотя бы отдаленными, но все же родственниками». Первым из польских выходцев нарушил традицию в начале XVIII века и взял русскую жену, как будто бы, Яков Аршеневский, вторым - девушку из рода Скуратовых - отец знаменитого екатерининского фаворита Александр Потемкин.

В самом общем виде обрусение новой большой группы смоленского дворянства завершилось разве что к концу XVIII века, если не в 1812 году, однако и после этого на Смоленщине то и дело дают о себе знать рецидивы и следы полонизма. Изучение родовых,

языковых, культурных смоленско-польских связей, взаимопроникновения двух славянских миров могло бы составить интересную краеведческую тему.

Особый статус смоленского дворянства долгое время признавался и подчеркивался самими русскими царями. Алексей Михайлович учредил специальный приказ по управлению «смоленским княжеством». Воеводами сюда назначались, как правило, авторитетные, стоявшие близко к царю русские вельможи: стольник Пушкин, князья Голицын, Репнин, Хованский, Долгоруков, граф Салтыков и др. — должность была и почетной, и очень ответственной. Еще более возросло царское внимание и расположение к Смоленску после женитьбы Алексея Михайловича на выросшей здесь Наталье Нарышкиной. Передалось оно и их сыну Петру I, не раз бывавшему в городе и оказывавшему разные милости его жителям. Да и впоследствии — вплоть, пожалуй, до середины XIX века — смоляне не без основания говорили о заметном внимании к ним царствующих особ.

Важной, исторически сложившейся особенностью смоленского образованного круга всегда было очевидное преобладание в нем западных настроений и культурных веяний над всякого рода узким национализмом. Квасные патриоты если и попадаются здесь, то в смягченной форме и в меньшей пропорции. Западные ветры явно сильнее восточных. Начиная с раннего средневековья, со знаменитого «Договора смоленского князя с Ригию и Готским берегом», иноземцы не подвергаются на смоленской земле какой-либо дискриминации.

Едва ли не чаще, как в случае с полонизмом XVII—XVIII веков, встречаются перехлесты противоположного толка. Впрочем, и за пресловутый полонизм не стоит так уж осуждать тогдашних смолян. Дело не только в родственных связях. Ведь какое-то время, особенно в допетровский период, более развитое западноевропейское образование действительно шло к нам через Польшу и близкие ей в ту пору украинские области. Поэтому-то открытые этим влияниям смоленские дворяне истари приобрели репутацию сравнительно просвещенных людей. Не по этим ли причинам славянофилы прошлого столетия, так любившие копаться в истории и быте старых русских городов, вплоть до уездных и заштатных, никак и нигде не обнаружили сколько-нибудь заметного интереса к Смоленску?

Не менее существенен для характеристики смоленского дворянства свойственный ему военно-патриотический идеал человека. С самого начала это было сильно военизированное сословие - да иначе и быть не могло в порубежном крае, в городе, который совсем недаром именовали щитом, ключом, форпостом России. Даже в ту пору, когда в России территориальные формирования повсеместно были заменены регулярной армией, на Смоленщине в виде исключения сохранялся давно привычный воинский уклад: дворяне по-прежнему зачисляются в свой Смоленский шляхетный полк, служба в котором до 1765 года рассматривалась как обязательная.

Справедливости ради надо признать, что полк этот был весьма экзотическим и не слишком послушным воинством. Пестрый по одежде и разнообразный по оружию («к какому кто избык»), во время смотров в Москве он неизменно вызывал веселое настроение у отвыкших от подобного вида и вольных манер московских зрителей. Однако пришло в конце концов и такое время, когда старинные воинские навыки и полупартизанский уклад смоленской шляхты оказались как нельзя более кстати и вместо былых насмешек доставили ей всероссийскую славу и всеобщее сочувствие. Конечно же, имеется в виду 1812 год, во многом переломный для благородного сословия Смоленщины, его экономического положения и политических настроений.

Оспаривать патриотические заслуги дворянства в войне с Наполеоном - дело безнадежное, поэтому у нас до последнего времени попросту не затрагивали лишней раз щекотливую тему. Между тем, порыв был настолько велик, что, помимо службы в регулярных войсках, дворянство Смоленской губернии по собственной инициативе,

добровольно организовало 12-тысячное земское ополчение, которое прекрасно показало себя в сражениях под Красным, Смоленском, Бородином и Малоярославцем.

Пора признать также, что именно дворяне стали инициаторами и руководителями партизанской борьбы против французской армии - здесь более других знамениты А. Д. Лесли, Я. С. Храповицкий, князь И. Г. Тенишев. Недаром восторженные рассказы о подвигах и жертвах смолян еще долго после войны заполняют популярные русские журналы («Русский вестник», «Сын отечества»), на эту тему пишутся стихи и повести, разыгрываются спектакли и т. п. Смоленское дворянство по праву оказалось в центре всеобщего внимания.

Однако, с другой стороны, Отечественная война нанесла сокрушительный удар по благосостоянию губернского благородного сословия, от которого оно полностью так никогда и не оправилось. «Едва ли в которой губернии столько убитых и раненых из дворянского сословия, - рассказывает в очерке «Полвека обыкновенной жизни» помещик Иван Шестаков. - В ином семействе три брата, все убиты на сражениях; в другом два брата убиты, третий ранен». После «разоренного года» в соседних, не затронутых войной губерниях появилось невиданное на Руси явление - нищенствующие дворяне, выходцы со Смоленщины.

Вот какую картинку из времен своего орловского детства запечатлел в своих мемуарах поэт Афанасий Фет: «Бывали у нас в то время посетители жалкого рода... Помню, как не раз на дворе усадьбы останавливались две или три рогожные кибитки, запряженные в одиночку, и Павел-буфетчик, подавая сложенные бумаги, заикаясь, докладывал матери:

- Сударыня, смоленские дворяне приехали.
- Проси в столовую, - был ответ.

И минут через десять, действительно, в дверь входило несколько мужчин, различных лет и роста, в большинстве случаев одетых в синие с медными пуговицами фраки и желтые нанковые штаны и жилетки; притом все, не исключая и дам, в лаптях.

- Потрудитесь, сударыня, - говорил обыкновенно старший, - взглянуть на выданное нам предводителем свидетельство. Усадьба наша сожжена, крестьяне разбежались и тоже вконец разорены. Не только взяться не за что, но и приходится просить подаяния.

Через час, в течение которого гости, рассевшись по стульям, иногда рассказывали о перенесенных бедствиях, появлялось все, чем наскоро можно было накормить до десяти и более голодных людей. А затем мать, принимая на себя ответственность в расточительности, посылала к приказчику Никифору Федорову за пятью рублями и передавала их посетителям».

Многие из таких обедневших, а подчас и утративших во время войны драгоценные акты гражданского состояния помещиков постепенно превращались в так называемых однодворцев (в Краснинском уезде подобных полудворян-полукрестьян называли почему-то «пучками»), другие скрепя сердце покидали родные места и переселялись на новые земли, на окраинные территории России. В одном 1844 году, например, 109 смоленских дворян уехали за счастьем в Тобольскую губернию.

В противоположность экономическому упадку духовное моральное состояние смоленского общества в итоге Отечественной войны скорее укрепилось, нежели пострадало. Люди сплотились как никогда ранее, повысилась роль общественного мнения. Заметной силой становится так называемое «военное дворянство» т. е. участники недавних славных событий, ветераны 1812 года, люди с обостренным чувством чести и собственного достоинства с возросшим национальным самосознанием.

Из таких дворян составилась после войны серьезная оппозиция административному клану губернатора К. И. Аша, который до той поры своевольно и бесконтрольно, как собственной вотчиной, распоряжался Смоленщиной. Возглавил противостояние «великому княжению» Аша герой 1812 года Сергей Иванович Лесли, которого дворянство несколько раз, вопреки губернатору, избирало своим предводителем. В конце концов в начале 1820-х

годов губернская администрация была заменена. Дворянство показало свою силу и достоинство.

После Отечественной войны подчеркнутая гражданственность и патриотизм становятся доминирующими чувствами, своего рода визитной карточкой смоленского дворянства. Однако если декабристскую молодежь эти похвальные настроения вели в тайные общества и на Сенатскую площадь, то основная масса делает из них скорее противоположные выводы.

Отныне при всяком удобном случае губернское благородное сословие спешит напомнить о своих заслугах и подчеркнуть свою непоколебимую преданность «вере, царю и отечеству». В 1854 году, в связи с Крымской войной, и на этот раз уже без особой к тому надобности, губерния вновь, как в 1812 году, собирает ополчение, которое даже выступило в поход, даже дошло до Молдавии, но, слава Богу, так и не было допущено к военным действиям.

От похода и молдавского лагеря у участников остались скорее комические, чем героические воспоминания. Тем не менее в 1863 году смоленская шляхта вновь заговорила об ополчении - теперь уже в связи с польским восстанием. От великого до смешного, как известно, всего один шаг, и этот шаг сделали тогда патриоты Юхновского уезда, призвавшие не покупать больше заграничных товаров, чтобы наказать таким образом поддерживавшую Польшу Западную Европу и подточить ее экономику. Разумеется, герценовский «Колокол» не мог упустить такую возможность и беспощадно высмеял смоленскую «юхну» с ее лучшим в мире патриотизмом. Пресловутая «возвышенность чувств» смоленских дворян, т. е. принимавшая такие консервативные формы традиция 1812 года, вообще не раз становилась объектом насмешек в либеральной прессе второй половины прошлого века.

Излишне напоминать, что прошлое смоленских помещиков, как и вообще русского барства, отягощено позором «белого рабства». Более того, Смоленщина считалась даже одной из самых «жестких» крепостнических губерний — вероятно, по причине сравнительной бедности, или, как говорили тогда, «малодушия» здешних «панов», которые усиленной эксплуатацией крестьян старались поправить свое незавидное положение (т. е. в какой-то мере и эта особенность здешней жизни является следствием 1812 года). Немало было помещиков типа А. Л. Колонова из Бельского уезда, которого в 1850-х годах судили за избиение и последовавшую за этим смерть его кучера (дело, получившее когда-то громкий резонанс). Впрочем, эта сторона дореформенного быта и галерея помещиков-крепостников уже давно выявлены нашими краеведами.

Однако в самые темные времена старой России из тех же самых смоленских усадеб выходили высококультурные, прогрессивно мыслящие и гуманистически настроенные дворянские деятели, люди, спасавшие честь своего сословия. Большинство из них нами забыто. В XVIII веке в губернии жили и работали последователи знаменитого московского просветителя Н. И. Новикова (например, Степан Храповицкий) и единомышленники А. Н. Радищева (Василий Пассек и его друзья).

Благородную и весьма многочисленную группу составляют декабристы нашего края. После их поражения, в условиях невиданного духовного гнета, традицию просвещения и свободомыслия поддерживают такие люди, как небогатый помещик Н. Г. Цевловский, много сделавший для облегчения участи своих крепостных крестьян. Давно ожидают нашего внимания либеральные деятели времен крестьянской реформы и «оттепели» 1860-х годов — например мировые посредники первого, как о нем говорили — «красного», призыва. Среди них было немало даровитых, в свое время популярных публицистов (С. С. Иванов, В. А. Колонов и др.).

До сих пор не выяснено, кто и как посылал тогда в Лондон, в герценовский «Колокол», разоблачительные и резкие «смоленские» материалы. Мало еще написано о земском движении, об участии смолян в Государственных думах, о политической борьбе в начале XX века. Многое здесь не так однозначно, как предполагалось до сих пор. И совершенно

неизвестными - за редчайшими исключениями — остаются судьбы наших земляков, потомков знаменитых когда-то смоленских семейств, в послереволюционное время.

Да, мы хорошо знаем таких представителей смоленского дворянства, как великий русский композитор М. И. Глинка, писатели Сергей и Федор Глинки, путешественник Н. М. Пржевальский, агрохимик А. Н. Энгельгардт, этнограф В. Н. Добровольский, сельский учитель С. А. Рачинский... Однако это лишь вершина айсберга — большая его часть до сих пор скрыта от наших глаз: в архивах, в старых документах, в забытых журналах и книгах. И слишком много, к сожалению, навсегда утрачено во время погромов, пожаров и грабежей гражданской войны и последующего времени.

Попробуем же прочитать некоторые страницы из летописи культурной жизни смоленского дворянства конца XVIII - начала XIX вв.

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И СМОЛЕНСКИЕ ВОЛЬНОДУМЦЫ

Великая французская революция - самый глубокий социально-политический переворот, наиболее влиятельное событие в новой истории Западной Европы. И в русском освободительном движении, при всем его резком национальном своеобразии, история Великой революции всегда была той школой, которая пробуждала политическое сознание, формировала начальные гражданские понятия, одухотворяла мечтой о «свободе, равенстве, братстве». Об этом свидетельствует и прошлое нашей области.

Либеральное движение на Смоленщине началось задолго до 1789 года. Уже в предшествующее, так называемое «новиковское» десятилетие передовое дворянство с интересом вчитывалось и вдумывалось в поступавшую из Франции просветительскую литературу, которая содержала в себе зерна политической ереси и была ничем иным, как идеологической подготовкой будущего революционного переворота. В русском обществе резко возрастает спрос на сочинения Монтескье, Вольтера, Мабли, Рейналя, Руссо и др. Конечно же, поначалу все это было не слишком серьезно, скорее светской модой на французское вольнодумство, чем сознательной политической оппозицией, тем более что подобное кокетство с Вольтером и Дидро позволяла себе в ту пору сама «матушка-императрица».

На Смоленщине тех лет такого рода свободомыслием отличался, например, владелец ельнинского имения Беззаботы Федор Богданович Пассек - один из четырех братьев этого влиятельного в ту пору дворянского семейства. Согласно церковным рассказам о нем, Пассек долго и не в меру «увлекался чтением иностранных писателей и особенно сочинений безбожника Вольтера и всей душетленной французской философии последних годов XVIII века», пугал еретическими рассуждениями о необозримости вселенной и множественности миров, но в конце своей жизни, под влиянием тяжелой болезни, испугался собственной смелости, покаялся перед иконой смоленской Одигитрии и впал в крайнюю набожность и мистицизм.

Значительно серьезнее были личность и деятельность Степана Юрьевича Храповицкого, одного из авторитетнейших людей Н. И. Новикова, с которым он состоял в переписке. Человек больш шого ума и образованности (он окончил сухопутный пажеский корпус в Петербурге), после бурно проведенной гвардейской молодости Храповицкий вышел в отставку, вернулся на Смоленщину и повел здесь просветительскую работу в духе Новикова. В своем имении Кощуно (сегодня — Кошино), в 25 верстах от Смоленска, он открыл школу для детей бедных дворян, в которую пригласил лучших учителей города, да и сам вел некоторые уроки. В Кощуно у Храповицкого была превосходная библиотека со «всеми подлинниками лучших сочинений французских и немецких писателей» и всеми переводами, вышедшими из московской типографии Новикова.

Были в губернии и другие люди с такими интересами и настроениями - «еретики, безбожники, фармазоны», как их обычно честила косная масса тогдашних Скотининых и Простаковых.

Первые известия о волнениях в Париже, о штурме Бастилии, о Национальном собрании были встречены образованными кругами русского общества с определенным сочувствием. Однако затем, по мере углубления революции, она все больше начинала представляться какой-то кровавой и беспощадной французской «пугачевщиной». Начинается правительственная реакция: все русские туристы срочно, по приказу возвращаются на родину, запрещается французская пресса, налагается запрет на торговлю французскими товарами и др. «Просвещенная» Екатерина II закрывает частные типографии, ссылает в Сибирь Радищева, заключает в Шлиссельбург престарелого Новикова.

Ее преемник Павел I в борьбе с ненавистной «французской заразой» вообще переходит все границы здравого смысла: не только уничтожает все — без различия содержания — французские книги, но даже велит изъять из русского языка такие «развратные» слова, как «отечество», «общество», «гражданин» и др.

И все же русская либеральная фронда не только не прекратилась, но, наоборот, набирает новую силу. Под влияние французских событий попадает новое поколение — образованная молодежь 90-х годов. Правда, и у этих молодых людей дело частенько не шло дальше бравады и эпатажа, как, например, у высланного в 1796 году из Петербурга в Смоленскую губернию и вообще часто бывавшего здесь полковника Михаила Салтыкова. Воспитанник шляхетного корпуса, с молодых ногтей пропитанный вольтерьянством и руссоизмом, Салтыков, по свидетельству, Ф. В. Ростопчина, буквально обращал в бегство своих собеседников «громкими словами о свободе», откровенным одобрением революционных событий и, не в последнюю очередь, вызывающими, высокими до подбородка, галстуками по моде революционного Парижа, при виде которых император Павел I и все старожилы приходили в совершенное неистовство. За Салтыковым установилась репутация чуть ли не великосветского якобинца, хотя на самом деле, разумеется, никаким революционером он не был, да и в революции всегда восхвалял не якобинцев, а жирондистов.

Другой характерный пример французского влияния в 90-е годы — юношеские «революционные» порывы нашего земляка, впоследствии известного писателя и журналиста Сергея Глинки. Начало революции совпало для Глинки с его учебой в Петербургском шляхетном корпусе — в пору благословенного для этого заведения либерального директорства графа Ангальта. Кадеты Ангальта свободно читали французские газеты, откровенно говорили о последних событиях в Париже. Как-то учитель французского языка Паш познакомил воспитанников с «Марсельезой», а Глинка тут же переложил ее русскими стихами. Там же, в корпусе, Глинка увлекся «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева — книгой, которая, как отметила Екатерина II, тоже была «исполнена и заражена французским заблуждением».

В таком еретическом настроении, с Францией в голове и с «Путешествием» в дорожном саквояже, в январе 1795 года только что выпущенный из корпуса поручик является в духовщинскую глушь, в родные Сутоки, и возмущается здесь крепостными порядками своей «малой родины», в особенности продажей крестьян и рекрутскими операциями своего старшего брата: «Стыд великий, позор и горе той стране, где торгуют человечеством!»

Еще более, чем восторженное настроение юного Глинки, примечательна поистине трагическая судьба другого смоленского энтузиаста Великой революции Василия Васильевича Пассека. В полном смысле слова мученик просветительских и революционных идей XVIII века, задолго до декабристов, ни в чем не поколебавшись, не сломившись, он прошел их крестный путь: аресты, тюрьмы, сибирскую ссылку.

Судьба Василия Пассека в его поколении по-своему исключительна, однако его настроения, политические интересы, увлеченность французскими делами весьма типичны для значительной части русской молодежи конца XVIII века. Кульминации этих настроений приходится на вторую половину 90-х годов, когда после смерти Екатерины и воцарения Павла I либеральное брожение умов соединилось со всеобщим недовольством новым

императором, его непредсказуемой реакционной политикой и насаждаемыми им казарменными, гатчинскими порядками.

Ведущая роль в этой оппозиции принадлежала гвардейскими армейским офицерам, которые в полном смысле слова возненавидели Павла I — «Бутова», как они его иронически прозвали. В такой атмосфере около 1797 года и сложилась в Смоленской губернии антиправительственная организация, которую возглавил двоюродный брат Василия Пассека, небогатый дворянин Краснинского уезда, близкий Суворову отставной полковник Александр Михайлович Каховский. (Отметим, что с Василием Пассеком были знакомы и некоторые другие участники движения — например братья А. С. и С. С. Николевы.)

Возглавленная Каховским оппозиция была не слишком организованной, однако весьма многочисленной и разветвленной: помимо краснинского имения Каховского Смоляничихи, она имела свои кружки в Смоленске, Дорогобуже, в некоторых соседних губерниях. По мнению расследовавшего дело генерала Линденера, «смоленские якобинцы» распространили свое действие от Калуги до литовской границы и от Орла до Москвы. Главную массу недовольных составляли офицеры расположенных в губернии войск, но встречались и служащие гражданских ведомств (советник смоленской казенной палаты, вице-губернатор и др.). В самом Смоленске особенной активностью и влиятельностью выделялся командир стоявшего там полка Петр Киндяков. Смоленские офицеры, доносил Линденер, настолько «соединились в единомыслии с полковником Киндяковым», что в полку установилась «сухая вольность и братство».

Деятельность смоленских кружков 1797-1798 гг. от начала до конца была проникнута идеями, понятиями и образами французской революции. На заседаниях «восхвалялась французская республика, ее правление, ее вольности». Ориентируясь на то, что произошло в Париже, заговорщики разрабатывали планы государственного переворота, установления республиканского строя. Они заготавливали оружие, боеприпасы и готовились чуть ли не к походу на Петербург. На допросе в Тайной канцелярии Петр Киндяков признался, что, в случае чего, готов был бежать во Францию и служить там в республиканской армии. Основу духовных интересов смоленских заговорщиков составляла опять-таки новейшая французская литература, сочинения Вольтера, Гольбаха, Монтескье, Гельвеция и др. С особенным воодушевлением читалась тираноборческая трагедия Вольтера «Смерть Цезаря». «Брут, ты спишь, а Рим в оковах!» - этими словами из трагедии в письме Каховскому побуждал его к действию капитан Кряжев, а майор Потемкин изъявлял готовность лично - по примеру Брута — избавить Россию от ее тирана Павла I.

По свидетельству Сергея Глинки, в годы французской революции «общий дух волнения обходил деревни и села России». В нашей губернии эти волнения приняли особенно острый характер все в том же 1797 году, когда по ряду поместий Сычевского, Гжатского, Духовщинского, Смоленского, Бельского уездов прошла волна крестьянского неповиновения, для подавления которого потребовались воинские команды. Впрочем, и среди самих солдат появился дух «мятежничества», участились стычки с начальством и случаи дезертирства. В 1797 году группа беглых солдат явилась к одному из смоленских помещиков и, грозя расправой, потребовала у него деньги и пропитание. «Что нам до Павла, - отвечали они на угрозы, - мы его знать не хотим, и если ты будешь еще говорить, то мы тебя убьем».

Воздействие французской революции на русское освободительное движение не ограничивается XVIII столетием. Несомненное влияние истории и идеологии 1789-1794 гг. мы находим у наших земляков декабристов, деятелей крестьянской реформы 1861 года, у участников демократического движения второй половины прошлого века.

СМОЛЕНСКИЙ ВОЛЬНОДУМЕЦ В.В.ПАССЕК

Вослед Радищеву восславил А. С. Пушкин

Среди самых ранних поборников политической свободы и справедливости, связанных со Смоленщиной, заслуживают внимания некоторые представители известного в русской истории семейства Пассеков. Из них сегодня мы лучше всего знаем имя участника декабристского движения (из тех, кого называют «декабристами без декабря», так как он не дожил до выступления) - Петра Петровича Пассека. Он жил в Крашневе и Яковлевичах Ельнинского уезда и, по свидетельству И. Д. Якушкина, «жестоко порицал все мерзости, встречавшиеся на каждом шагу в России, в том числе и крепостное состояние».

На первый взгляд, такие убеждения кажутся неожиданными именно у Пассеков. Ведь отец декабриста, известный екатерининский вельможа, генерал-губернатор Белоруссии П. Б. Пассек был законченным реакционером, крепостником и воспитывал сына в самых благонадежных понятиях. И все-таки декабрист Пассек — не случайный для этого семейства человек.

Идейный разлад начался уже давно. Вольнодумными взгляда ми отличался, как мы уже видели, дядя будущего декабриста - Ф. Б. Пассек (деревня Беззаботы Ельнинского уезда). Да и в своем поколении декабрист из Крашнева не был одинок. Репутация вольтерьянца закрепила за его двоюродным братом, знакомым Пушкина и Чаадаева, М. А. Салтыковым. Со стороны Екатерины II подвергался преследованию и был доведен до психического расстройства другой двоюродный брат - князь К. А. Кантемир. Но особенно сильное впечатление производит героическая и бедственная жизнь третьего брата - Василия Васильевича Пассека (1772—1831), который, по собственным его словам, «видел в жизни единые гонения и тюрьмы». Задолго до 1825 г., подобно почитаемому им Радищеву, он испытал участь декабристов, предвосхитив их настроение и судьбу.

Василий Пассек — сын весьма богатого смоленского помещика, который из-за своей романтической, полуполюгальной женитьбы вынужден был жить по большей части вдали от смоленских владений, в небольшом селе Спасское на Украине. Его безвременная смерть оставила молодую вдову, брак которой, к тому же, считался недействительным, шестилетнего сына и дочерей на попечении упомянутого генерал-губернатора Белоруссии. Всесильный белорусский наместник скрыл завещание своего доверчивого брата, захватил его имения, выгнал вдову чуть ли не на улицу, а племянника отправил в один из частных петербургских пансионов. В дальнейшем генерал всеми силами старался сделать из него простоватого и послушного молодого человека, который не помышлял бы о своих наследственных правах и не имел никаких претензий. Он выдает Василия за безродного приемыша и, пытаясь лишить отцовской фамилии и наследства, даже записывает в документах не Пассеком, а Ласковым. Узнав об успехах племянника в пансионе, тут же обрывает его учебу и записывает в Вологодский мушкетерский полк (хотя без труда мог бы определить в привилегированную гвардию).

Таким образом, поначалу злоключения Василия Пассека не имели политического характера и были обусловлены той беспощадной борьбой за землю и крестьянские «души», которая так характерна для крепостного времени и которую, не стесняясь в средствах, повел его высокопоставленный родственник. Однако очень скоро в «деле Пассека» спор о наследстве и идейная вражда, экономика и политика оказались связанными самым тесным и губительным для молодого человека образом.

Несмотря на все усилия генерала подавить личность племянника (а может быть, именно поэтому) Василий Пассек вырос не только мужественным, но и культурным, свободомыслящим человеком. В русско-турецкую войну, при штурме Измаила, он показал себя одним из самых смелых «охотников» и был произведен в майоры. «Майорский чин получил я грудью», не без гордости будет он вспоминать потом. Молодой офицер много читает, пишет стихи, задумывается не только о собственном положении, но и о бедствиях крестьян, о судьбе России. На Смоленщине он часто гостит у другого своего дяди — вольнодумного Ф. Б. Пассека. Большое впечатление, по-видимому, произвела также поездка за границу. В Западной Европе тех лет все громче звучали призывы к «свободе, равенству, братству». Именно в это время, в конце 80-х годов, формируются гражданские

убеждения Василия Пассека и он становится «представителем прогрессивно и демократически настроенного молодого поколения конца XVIII века».

Свидетельством вольнолюбивых и даже революционных настроений В. В. Пассека являются его стихи, частично сохранившиеся в архиве Тайной канцелярии — «яркие образцы русской подпольной поэзии конца XVIII века». Написанные в духе Радищева и под его очевидным влиянием, они передают возмущение Пассека монархическими и крепостническими порядками. Автор считает противным разуму и природе господство одной «породы людей над другой», призывает читателей разорвать цепи, в коих держат «душу их и тело». Ода в честь Свободы, навеянная «Вольностью» Радищева, заканчивается смелым призывом истребить «кичливый род царей».

Именно это вольнодумство и юношескую горячность решил использовать опекун в борьбе с племянником, когда тот в мае 1793 года, по совету благоволившего к нему А. В. Суворова, затребовал отцовское завещание и предъявил права на смоленское наследство. В Петербург поступает донос на Василия Пассека и его товарищей по полку как на группу политических злоумышленников. Екатерина II отдает приказ об аресте. Попытка Пассека бежать за границу не удалась, в Яссах он был задержан, закован в кандалы и отправлен в Петербург. При обыске в его бумагах обнаружили два списка запрещенного радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» и ряд тираноборческих стихотворений опального писателя. И в довершение беды одно из стихотворений (повидимому, собственное) оказалось акростихом, в котором имя тирана, «изверга природных прав», расшифровывалось как «Екатерина».

Вольнодумство и политическая оппозиция Василия Пассека были очевидны, однако на этот раз императрица позволила себе милостивый жест в отношении «героя Измаила»: после восьмимесячного заключения он был возвращен в полк с запретом бывать в столицах, т. е. в Москве и Петербурге. Так 22-летний смоленский мечтатель получил первый урок, впервые почувствовал свою полную беспомощность перед могущественным самовластным государством и сплоченной кликой высших сановников.

К чести Василия Пассека кандалы, тюрьма и тайная канцелярия не заставили его отказаться от своих смелых убеждений и политических вольностей. И на новом месте службы (Вильно) вокруг него снова складывается круг свободомыслящих офицеров. Генерал-губернатор, со своей стороны, продолжает распускать о нем порочащие слухи как о «якобинце, делающем фальшивые ассигнации и чеканящем монеты» (таковы были, видимо, убогие генеральские представления о французских революционерах). И вот на имя только что вступившего на престол Павла I поступает новый донос с сообщением, что нераскаявшийся Пассек снабжает офицеров запрещенными книгами и осуждает царскую власть. По подозрению в заговоре против императора молодой человек заключен в Дюнамундскую крепость - теперь уже безо всякого суда и следствия.

Второе заключение В. В. Пассека продолжалось с 25 декабря 1796 г. по 25 марта 1801 года, т. е. 4 года и 3 месяца, и сначала проходило в крайне тяжелых условиях, в сырой камере, почти без прогулок. «Сердце мое обливается кровью при воспоминании ужасных картин сих», - писал впоследствии Пассек.

Как ни странно, именно в эти годы сдвинулась, наконец, с мертвой точки тяжба о смоленском наследстве. Дело в том, что у нового императора екатерининские фавориты оказались в опале, был смещен с губернаторства и П. Б. Пассек, ему даже запретили выезжать из своих ельнинских имений. Вопрос о наследстве окончательно прояснился, и Павел I соизволил утвердить завещание, а следовательно, и смоленские права Василия Пассека.

Казалось бы, вопрос был решен. Однако на самом деле это была только видимость справедливости. Пользуясь отсутствием истца, петербургские друзья бывшего генерал-губернатора затянули объявление царского решения правящему сенату вплоть до убийства Павла I в 1801 году, так что вышедшему на свободу Василию Пассеку, в сущности, приходилось все начинать сначала. Но где взять силы для такой борьбы? Ведь, по его

словам, он вышел из узилища «полумертвым»: испорчено зрение, выпали зубы, в 25 лет «сделался дряхл и бел, как лунь».

И все-таки этот необыкновенный человек не был сломлен. Дело даже не в том, что, не идя ни на какие компромиссы, отказываясь от подачек, он возобновил изнурительную, неравную борьбу с ограбившим его сановником, который опять пустился на самые отвратительные уловки, мелкий обман, притворство, имитацию болезни и т. п. Дело в том, что Василия Пассека вновь переполняют самые пылкие гражданские чувства. Проклиная ненавистное прошлое, он, как и многие современники, ждет от Александра I политической свободы и ликвидации крепостного рабства. Однако жизнь развеяла и эти надежды: при новом царе Пассек становится жертвой еще большей несправедливости.

Видя, что все уловки бесполезны, что ненавистный «якобинец» и после десятилетнего хождения по мукам не научился уступать силе и власти, старый придворный интриган (недаром он участвовал когда-то в убийстве Петра III) устраивает настоящую травлю племянника. «Я засажу и сгною его в тюрьме!» - срывается он при свидетелях. И действительно, с помощью подкупленной гувернантки и родственника генерала — А. В. Обрескова (т. е., как всегда, чужими руками) было состряпано сразу два дела: уголовное и политическое, — причем, в последнем речь шла об оскорблении царской особы. Арест, суд, тюрьма.

И на этот раз Василий Пассек не только не получил смоленского наследства, но вообще был лишен дворянских прав. «Для чего морят меня в заклепах?» — вопрошает он в своем тюремном жизнеописании. Но в глубине души, вероятно, и ему уже было ясно, что главная причина не в негодяе родственнике, не в смоленской тяжбе и даже не в «оскорблении величества» — прямо или косвенно, но это была расправа над политическим противником, над последователем А. Н. Радищева. «Властителем и судиям» было хорошо известно, что упорный Пассек не отказался от своих «еретических» убеждений. В тюремной камере он пишет статьи о государственных финансах, о гуманном обращении с заключенными, об отношениях помещика и крестьянина. Им составлен проект освобождения крестьян, и сам он, опираясь на указ от 20 февраля 1803 года, намеревался отпустить на волю немногих своих крепостных людей. Только учтя все эти обстоятельства, можно понять странное легковерие судей и жестокость их последнего приговора: после нескольких лет петербургской тюрьмы, с женой и малыми детьми, лишенный всех прав бывший смоленский дворянин В. В. Пассек был отправлен на поселение в Сибирь, где и протрадал около двадцати долгих лет. «Мне 32-й год, - пишет он в тюрьме, — а я и кажусь и ощущаю себя шестидесятилетним; словом, пожраны мои весна, и лето, и осень».

Дальнейшие, сибирские подробности жизни смоленского вольнодумца и его семьи достаточно хорошо известны по мемуарам двоюродной сестры А. И. Герцена, которая была замужем за одним из сыновей Василия Васильевича. Интересные детали содержатся в «Былом и думах» самого Герцена. «Да чего бояться слов, - восклицает здесь пораженный судьбою Пассеков Герцен, - это была семья героев. Что они все вынесли друг для друга, что они делали для семьи - невероятно, и все с поднятой головой, нисколько не словившись».

Только в 1825 году Пассеки вернулись из Сибири. Они поселились в Москве, на чужой квартире и жили здесь в условиях крайней бедности: «не знали, чем будут обедать завтра» (Герцен). В 1826 году, во время торжественной коронации Николая I в Кремле, две старших дочери втайне от отца осмелились подать царю письмо о положении семьи, но девушек отвели в полицейский участок и ничего не сделали по их просьбе. Таким образом, четыре царя рассматривали спорное смоленское дело, в котором правда была совершенно очевидна, и ни один из них не захотел помочь невинному человеку - яркое доказательство политического характера российской фемиды.

В таких обстоятельствах в 1830 году В. В. Пассек скончался. И все-таки семья смоленского вольнодумца вернулась на родину! Сын генерал-губернатора Белоруссии П. П. Пассек, как известно, резко свернул со стези своего несправедливого отца и вошел в декабристский «Союз благоденствия». Несмотря на семейную распрю, двоюродные братья

были достаточно близки друг другу - по крайней мере, в молодости. Есть сведения, что Петр Пассек осуждал поведение своего отца и обещал вернуть чужую собственность после его кончины.

Ссылка брата и лишение его дворянских прав, вероятно, помешали ему сдержать обещание, а когда ссылка закончилась, Петра Пассека самого уже не было в живых. Но вот в 1841 году два старших сына Василия Васильевича, Егор и Валериан, неожиданно были вызваны из Москвы в смоленские Яковлевичи, где по завещанию вдовы декабриста получили половину его смоленских владений (к этому времени они добились возвращения сословных прав). Не исключено, что этим вдова лишь выполнила волю своего покойного мужа.

Трагическая и благородная жизнь В. В. Пассека отозвалась в следующих поколениях. Его дети, для которых память об отце была священной, стоят рядом с молодыми Герценом и Огаревым. В 60-е годы мы видим Егора Пассека среди деятелей крестьянского освобождения в Ельнинском уезде. Праправнучка Василия Васильевича Т. С. Пассек стала одним из крупнейших русских ученых-археологов. В 1950 году она была удостоена Государственной премии СССР.

Н.А МУРЗАКЕВИЧ - ПЕРВЫЙ ИСТОРИИ СМОЛЕНСКА

Не сладость дружеских объятий,
Тебе наградою была,
А клевета твоих собратий
И душ завистливых хула.

И. И. Орловский. «На могиле Н.А. Мурзакевича»

Во второй половине XVIII столетия, отражая рост национального самосознания, в трудах В. Н. Татищева, М. М. Щербатова, И. Н. Болтина и др. складывается русская историческая наука. Повсеместно растет интерес к прошлому российского государства. Естественно, что Смоленск с его почти тысячелетним героическим прошлым не мог не привлечь внимания как ученых, так и простых любителей старины. Особое место среди них принадлежит нашему земляку, «неутомимому собирателю древних сведений» Никифору Адриановичу Мурзакевичу (1769-1834). В ту пору, когда историческое краеведение, так называемая частная история, только начиналось и не было под рукой еще никаких образцов, он написал и издал свою знаменитую «Историю губернского города Смоленска», которая многие десятилетия, чуть ли не весь позапрошлый век, оставалась главной книгой о нашем городе. Н. А. Мурзакевич - подлинный отец смоленской истории о графии, смоленского краеведения.

Всю жизнь энтузиасту смоленской старины приходилось преодолевать инертность властей, пренебрежение и зависть духовенства, равнодушие дворянского круга. «Дворянство и ученое духовенство, ежели смею сказать, пренебрегает о собирании исторических и перебирании древних бумаг», - с горечью жаловался Мурзакевич. В то время как историк радуется каждой реликвии или документу старины, губернатор барон Аш велит разбирать на кирпичи «смоленское ожерелье» - древние крепостные стены, а губернатор Хмельницкий помещает найденную на Смядыни «белокаменную» гробницу в пожарное депо, где она используется под лошадиные ясли. Немало осложнений выпало и на долю первой I «Истории города Смоленска», прежде чем она увидела свет.

Никифор Мурзакевич был в полном смысле самородком, даже своего рода самозванцем в исторической науке, так как работал на свой страх и риск, без разрешения и поощрения свыше, не имея, к тому же, не только специального, но даже среднего образования. Родившись в 1769 г. в большой семье бедного священника, он и сам должен был пойти по отцовскому пути, так как все другие возможности для способного мальчика были закрыты. Десяти лет его отдадут в Смоленскую семинарию, однако внезапная смерть отца вынуждает уйти оттуда, не закончив даже низшего, синтаксического класса. Совершенно обнищавшая

семья поселяется на улице смоленских бедняков, в Резницком овраге, кормится огородом и садом, носит самодельную одежду, изготовленную руками неутомимой матери. Лишенному образования Мурзакевичу заказана и приличная церковная карьера. Начав службой-псаломщиком, он так и не поднялся выше приходского священника и семинарского завхоза. Его положение, в сущности, ничем не отличалось от жизни бедного разночинца, скромного «маленького человека» тех далеких лет.

И все-таки проснувшаяся тяга к знанию вопреки всему искала для себя выхода. В Никифоре Мурзакевиче развилась сильная страсть к чтению. Он достает книги через знакомых (никакой публичной библиотеки в тогдашнем Смоленске не было), а иногда, не в силах удержаться, даже покупает их на свои скудные средства у старьевщиков на рынке. Самые интересные для него - исторические сочинения о русском народе, тем более что в некоторых из них упоминается родной Смоленск. Мурзакевич тщательно выискивает и выписывает эти упоминания. Так в конце концов и возникла у него самонадеянная мысль: опираясь на «Истории» Татищева и Щербатова, на древние летописи используя рукопись Шупинского, местные архивы, не пренебрегая и преданиями старожилов, составить по крупице подробную историю родного города.

Занятия смоленской историей захватили Мурзакевича. В чение нескольких лет он отдает им все свободное время, трудится утром и в полночь, подчас до полного изнеможения. В конце концов «странная» жизнь подчиненного вызвала подозрения епископа Димитрия Устиновича, преосвященный вызвал его к себе, велел прекратить постороннюю работу, ибо не положено этим заниматься «человеку неученому», и закрыл для историка консисторский и монастырские архивы. На голову бедного Мурзакевича сразу же посыпались злорадные насмешки сослуживцев и так называемого «ученого» смоленского духовенства.

И все-таки бывали у нашего первого историка редкие дни, когда он встречал понимание и поддержку. Особо следует выделить 1802 год, когда однажды в июле счастливый случай свел его с несколькими по-настоящему передовыми и образованными людьми, воспитанниками Московского университета, которые по пути за границу на некоторое время задержались в Смоленске. Среди них был А. И. Тургенев, широко образованный и свободомыслящий юноша, впоследствии близкий друг Пушкина, Вяземского, Чаадаева (младший его брат станет декабристом). Молодые москвичи заинтересовались историей города и — по совету обывателей - разыскали Мурзакевича в его хижине на Резницкой.

Вдохновенный рассказ о Смоленске и бедственное положение рассказчика произвели на них сильное впечатление. А. И. Тургенев написал об энтузиасте своему отцу, известному в свое время просветителю, товарищу знаменитого Н. И. Новикова, с которым они вместе пострадали за вольномыслие при Екатерине II. И вот, спустя несколько месяцев после встречи на имя бедного смоленского книжника пришла из Москвы посылка, содержащая около сотни различных томов, необходимых для его работы. Эта неожиданная бескорыстная помощь со стороны передовых людей тогдашней России потрясла неизбалованного вниманием Мурзакевича, придала ему силы и уверенности в себе - и, через год он довел-таки свой труд до конца.

Однако и на этом мытарства историка не закончились. Как издать написанную книгу? Разъяренный епископ возвращает поднесенную ему рукопись «с выговором и бранью». Не удалось найти помощи и у гражданского губернатора Гедеонова. Оставалась последняя надежда - на военного губернатора С. С. Апраксина. К счастью для Мурзакевича, новоприбывший генерал разыгрывал просвещенного вельможу и как раз в это время занимался губернской типографией с тем, чтобы она выпускала специально для него переводимые сентиментальные комедии немецкого писателя А. Коцебу.

Меценат милостиво разрешил посвятить себе будущую книгу, хотя не имел к ней ни малейшего отношения, и даже порекомендовал смоленскому дворянству произвести подписку. В 1804 г. губернская типография отпечатавала 600 экземпляров «Истории».

Конечно, это была удача, однако пришла она к Мурзакевичу почти случайно: до последнего времени дело висело на волоске и зависело от воли и настроения сиятельного лица.

Труд самодеятельного историка явился важным событием в культурной жизни Смоленска. «Все жители города обратились к автору с требованием Истории Смоленской», - вспоминал один из сыновей Мурзакевича. Книга продавалась в Москве, со временем стала известна петербургским историкам. Вскоре потребовался дополнительный выпуск. В своей книге Мурзакевич впервые проследил и систематизировал смоленские события от удельных времен до конца XVIII века.

Конечно, к нашему времени его труд далеко перекрыт позднейшими исследованиями С. П. Писарева, И. И. Орловского, современных ученых. Книга Мурзакевича имела еще компилятивный и летописный характер, но в свое время была очень полезна и даже необходима. По оценке современного специалиста она была по-своему добросовестна и обстоятельно передавала содержа источники. Особую ценность представляет последняя, пятая, часть, которая ввела в научный оборот ряд ценных литовских польских и русских документов, тем более что их оригиналы, погибли в пожарах 1812 года. Еще более велико историко-культурное, просветительное значение книги для нашего города, для Смоленщины вообще.

Успех «Истории» сделал Мурзакевича заметным в городе человеком, большинство смолян относилось к нему с уважением, однако отношения с духовенством были испорчены окончательно: начинается зависть, всевозможные толки и пересуды, для смоленского клира он всего-навсего подозрительный «сочинитель» и неученый выскочка. Заниматься историей становится не только не легче, но, по-видимому, еще труднее.

Новые испытания и новую славу принес Мурзакевичу 1812 год. В пору французского нашествия мы видим его уже не просто летописцем, а действующим лицом и даже одним из героев живой истории родного города.

Несмотря на призыв Александра I не поднимать паники и на данную подписку о невыезде, подавляющая часть духовенства во главе с самим епископом Иринеем при приближении неприятеля спешно покинула Смоленск. Но Мурзакевич сдержал данное слово и разделил судьбу своего города, 4—5 августа его можно было видеть поблизости от сражавшихся, среди раненых и умирающих, несколько пуль пробили его широкополую шляпу.

Когда город был все же занят французами, Мурзакевич с сыновьями-подростками помогает оставшимся в городе раненым, старается спасти городское имущество, достопримечательности, подвергается аресту, даже, как говорится в одном из документов, был французами «бит, дран за волоса и бороду». И все-таки по его настоянию Мюрат поставил караул в Успенском соборе. Именно Мурзакевич был последним собеседником приговоренного к расстрелу П. И. Энгельгардта, принял его завещание и предал земле тело героя Отечественной войны.

В конце концов историограф стал чуть ли не главным ходатаем за город и его жителей перед французской администрацией. Эта забота о Смоленске и привела его 28 октября 1812 г. к пресловутой «встрече с Наполеоном», которую после освобождения к враждебное ему духовенство пыталось использовать для расправы с «сочинителем», обвинив его в измене России.

Два года тянулось так называемое «дело Мурзакевича».

В трудное время войны и следствия почти наполовину сократилась его семья: умерли мать, жена, две дочери, тетка и воспитанница Софья Каховская. В 1814 г. за отсутствием состава преступления дело было прекращено. Окончательным завершением событий 12-го года для Никифора Мурзакевича можно считать награждение его в 1818 г. бронзовым владимирским крестом за храбрость — по несколько запоздалому представлению участника обороны Смоленска генерала И. Ф. Паскевича.

Хотя перенесенные испытания совершенно подорвали здоровье Н. А. Мурзакевича, он и после войны не прекращает своих привычных, изнурительных занятий, дополняет свою

«Историю», мечтает написать о событиях 1812 года (можно представить, какой ценной была бы для нас книга очевидца!). Однако его снова окружает стена непонимания и равнодушия. В 1819 г. вроде бы удалось добиться официального, от имени губернатора, обращения ко всем жителям Смоленщины с просьбой сообщить об известных кому бы то ни было исторических документах и реликвиях, но местные власти, помещики, монастыри полностью проигнорировали призыв — затея не дала никаких результатов. Когда же в июле 1819 года историк собрался сам объездить уездные архивы, у него просто-напросто не нашлось нужной для этого небольшой суммы денег.

По свидетельству сына, в последние годы отчаявшийся Н. А. Мурзакевич уже больше читал, а не писал, так как все его рукописи оседали никому не нужным мертвым грузом. Не убывает и неприязнь смоленского духовенства. На совет известного собирателя древних рукописей Н. П. Румянцева продолжить исторические изыскания Мурзакевич с горечью отвечал, что боится «снова навлечь на себя ненависть и смех большей части здешних духовных, ибо я оные довольно почувствовал при издании «Смоленской Истории», да и теперь некоторые мои домашние упражнения подают повод к смеху».

Примечательно, что оскорбленный представителями смоленского клира в своих лучших чувствах, в любимом деле всей своей жизни, Н. А. Мурзакевич всячески старался вывести своих четырех сыновей из духовного сословия, за что получил очередную выговор от преосвященного. Один из сыновей (с помощью все того же А. И. Тургенева) был отправлен на гражданскую службу в Петербург, двое других, пройдя через жестокую нужду казеннокоштных студентов, сумели окончить Московский университет, причем младший — Николай — стал впоследствии видным историком южной России, профессором Ришельевского лицея (Новороссийский университет). В 1840-е годы мы находим Николая Мурзакевича в числе знакомых Белинского и собеседников Гоголя.

Первый историк Смоленска Н. А. Мурзакевич отнюдь не был тем «неученым выскочкой», каким изображала его духовная «профессура». Это был человек большой и разносторонней начитанности, с немалым даром слова. Обращает внимание, например, что среди неизданных его сочинений был даже «Опыт словаря изобретателей разных употребительных у людей предметов», что в собранной на скудные средства и огромной по тому времени библиотеке стояли «опасные» книги французских просветителей Монтескье («Дух законов»), Руссо («Исповедь», «Гражданин»), а сыновья зачитывались в детстве Лесажем и Сервантесом. Вообще, у пионера смоленской историографии ощутима определенная демократическая настроенность. Не случайно в одном из писем он утверждает, что «писал не для богословов и любомудров, а имел в виду благо простого народа», который, по его словам, пребывает «в бедности и тягостных работах». Редкая библиотека историка постоянно была открыта для всех желающих. Еще при жизни он дарил сотни томов учебным заведениям города, а после смерти около тысячи книг было передано для основания первой в Смоленске публичной библиотеки.

Нельзя не отдать дань благодарности человеку, который стоит у истоков смоленского краеведения и которому пришлось вынести столько невзгод ради своего благородного, патриотического дела. «В нем же, — говорил Мурзакевич, — сердце мое участвовало».

СМОЛЯНЕ И ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ

Смоленщина позапрошлого столетия, при всей ее великой, героической истории, была одной из самых отсталых губерний обширной Российской империи. Она выделялась многочисленностью дворянского сословия, повышенным уровнем закрепощенности населения, непрерывными злоупотреблениями помещичьей властью и волнениями среди крестьян. «Смоленская шляхта» традиционно отличалась самым махровым консерватизмом и закоренелым крепостничеством. Сам Николай I показался смоленским помещикам чуть ли не карбонарием, и в губернии поднялся настоящий переполох, когда в 1847 г. было предложено высказаться - «келейно и по-домашнему» - о способах решения

опасно обострившегося крестьянского вопроса. Предводитель дворянства князь М. В. Друцкой-Соколинский был отправлен в Петербург с наказом не идти ни на какие компромиссы и ни в чем не отступать от векового крепостнического уклада. На своих собраниях и в приветственных адресах губернское «благородное сословие» отнюдь не формально любило подчеркивать свои верноподданнические чувства и слепую преданность императорскому дому, а посещавшие город представители царствующей фамилии, со своей стороны, всегда выражали самое полное удовлетворение по этому поводу. «Ежели бы угодно было государю сделать меня где военным губернатором, я пожелал бы быть им в Смоленске», - заявил, например, в 1816 году будущий царь, в ту пору еще великий князь, Николай I. Официальные документы рисуют почти идиллическую картину. Тем значительнее для нас каждая высказанная в таких обстоятельствах вольная мысль, каждый смелый поступок, каждый факт политического протеста и борьбы, высшей точкой которых в первой половине XIX века был, как известно, декабризм.

Основные сведения о родившихся на Смоленщине декабристах собраны и обобщены в книге В. С. Орлова и В. Г. Вержбицкого «Декабристы-смоляне», вышедшей в 1951 году. Позднее ряд новых интересных фактов был выявлен Д. И. Будаевым. Однако вопрос нельзя считать исчерпанным. Необходимы дальнейшие исследования и поиски. Тем более, что даже печатные источники (например составленный в 1827 году в ходе следствия так называемый «Алфавит декабристов», мемуарные свидетельства и др.) позволяют дополнить наши представления некоторыми подробностями, эпизодами и предположениями, ввести в краеведческий оборот новые имена, так или иначе связанные с декабристским движением на территории нашей области и среди ее уроженцев.

На волне двенадцатого года

«Новая Россия ведет свое начало с 1812 года», — писал А. И. Герцен в очерке о декабристах. И действительно, Отечественная война против наполеоновского нашествия породила мощный прилив патриотических и гражданских чувств. Либеральные идеи перестают быть достоянием отдельных лиц и дружеских кружков, как это было во времена Новикова и Радищева, захватывают широкий слой передового дворянства, прежде всего армейского. «В умственном развитии моего отца огромную роль сыграли заграничные походы 1813—1815 годов, в которых он участвовал», — вспоминает дочь декабристски настроенного помещика Поречского (Демидовского) уезда. Героика войны, рожденные ею чувства национальной и человеческой гордости, впечатления от Западной Европы никак не вязались со средневековой отсталостью России, с ее крепостническим «белым рабством», с полным бесправием народа-победителя.

Своеобразным свидетельством возросшего за годы войны гражданского самосознания является начавшийся после нее и взволновавший всю губернию затяжной конфликт между так называемым «военным дворянством» и местной властью, воз-главлявшейся с 1807 года губернатором К. И. Ашем. Лютеранин и немец, барон Казимир Аш в конце концов стал совершенно одиозной фигурой для участников народной войны. Вспоминали его неуверенные, на грани малодушия, действия при приближении французов к Смоленску, поговаривали о присвоении его чиновниками части денежных сумм, выделенных на возрождение губернии, и т. п. И действительно, под крылом «всемогущего немца» сложился своего рода административно-родственный клан, в который входили зятья Аша (один из них — вице-губернатор) и высокопоставленные чиновники. Они не считались с общественным мнением, с заслугами ветеранов. Несогласных бесцеремонно отрешали от должностей и даже отдавали под суд, послушный всем желаниям губернатора. Вчерашние боевые офицеры возмущались корпусным командиром графом Остерманом-Толстым, комендантом города Покровским, полковником Глазенапом, которые измывались над вернувшимися с войны солдатами, унижали их человеческое достоинство. В довершение всего второй из губернаторских зятьев, полковник Гернгросс, получил монополию на производство водки, с помощью которой правящее семейство спаивало население и выкачивало из него последние деньги.

И жители губернии, наконец, не выдержали.

Появилась оппозиция властям, начались всякого рода столкновения. Громкий резонанс получило, например, дело известного своей принципиальностью краснинского судьи Алексея Антиповича Шестакова, который за сопротивление «кичливому барону» был по надуманному предлогу отдан под суд и разорен. Пошли жалобы в Петербург. Партию недовольных возглавил один из самых авторитетных людей губернии, организатор ополчения 1812 года Сергей Иванович Лесли, снова избранный в 1817 году после трех летнего перерыва, вопреки воле Аша, губернским предводителем дворянства. Не дождавшись решительных мер от министерства внутренних дел, Лесли обратился к самому Александру I и обвинил смоленскую администрацию в злоупотреблении властью, судебном произволе, непомерной эксплуатации крестьян на казенных работах и др. По-видимому, улики были настолько явными, что присланная комиссия вынуждена была признать обвинение обоснованным. Стало ясно, что «великое княжение» барона Аша на Смоленщине подошло к концу.

Какое отношение имеет эта история к декабристам?

Разумеется, столкновение с губернскими властями не означало, что пресловутая «смоленская шляхта» полностью переродилась и прониклась либеральными идеями, но все же общая атмосфера явно изменилась и стала благоприятной для новых веяний. И, как нам представляется, декабристы пытались использовать в своих целях сложившуюся в губернии ситуацию.

В самый разгар описанного противоборства, в 1819—1820 годы, на Смоленщине дважды побывал видный член Союза Благоденствия И. А. Фонвизин (племянник знаменитого комедиографа). Он встретился здесь с другими участниками движения: И. Д. Якушкиным в Вяземском уезде и П. Х. Граббе в Дорогобуже. Затем все трое гостили в ельнинском Крашневе у П. П. Пассека, который только что вернулся из-за границы и, хотя и не был еще членом тайного общества, «жестoko порицал все мерзости, встречавшиеся на каждом шагу в России». Друзья много рассуждали о горестном положении России и средствах, которые бы могли спасти ее, «приискивали средства для большей деятельности». Знали они и сложившуюся в губернии ситуацию, и настроение дворянства, а в 1820 году, судя по всему, и о предстоящей здесь смене власти (Фонвизин побывал в Смоленске, где встретился с Ашем).

Смоленские встречи и беседы Фонвизина, Якушкина, Граббе и др. оказались очень плодотворными. Недовольные положением дел в Союзе Благоденствия, они выработали план его реорганизации, причем в дальнейшей деятельности Союза одну из ведущих ролей отвели дворянству Смоленской губернии. Последнее подтверждается следующими фактами.

Почти сразу же после смоленских встреч Фонвизин оставляет, казалось бы, удачную для него воинскую карьеру (полгода назад он был произведен в генерал-майоры и получил назначение в 22-ю пехотную дивизию Южной армии). В декабре 1820 года он едет в Петербург, подает там рапорт об отставке и, отказываясь от других предложений, просит назначить его... смоленским губернатором. Начальник Главного штаба князь П. М. Волконский поддерживает кандидатуру молодого, энергичного генерала. Дело представляется почти решенным.

Одновременно Фонвизин, Якушкин и Граббе (так сказать, смоленская инициативная группа) начинают работу по созыву задуманного ими съезда Союза Благоденствия, для чего Фонвизин оповещает московских и петербургских членов, а Якушкин отправляется с этой целью на юг, в Тульчинскую и Кишиневскую управы. Съезд собрался в январе 1821 года на московской квартире Фонвизина и принял ряд принципиальных решений по реорганизации движения, которыми, среди прочего, предусматривалось учреждение в Смоленске одной из четырех управ (отделений) обновленного Союза - три другие предполагались в Москве, Петербурге и Тульчине, т. е. в сложившихся, признанных центрах декабризма.

Ответственность за исполнение «смоленского» пункта возлагалась на Якушкина. Ему же поручалось принять в Союз смолянина П. П. Пассека.

Сопоставление всех этих демаршей и решений обнаруживает своего рода «смоленский акцент» в деятельности Союза Благоденствия в 1820-1821 годы. Напрашивается вывод, что это - звенья одного, связанного со Смоленщиной продуманного замысла, который в случае удачи должен был сделать губернию одним из главных очагов организованного движения.

К сожалению, большая часть намеченного не осуществилась. Якушкин впоследствии ссылаясь на свою нераспорядительность и пассивность, однако главной причиной неудачи, на наш взгляд, было фиаско с губернаторством. Несмотря на представление князя Волконского, Александр I, уже предупрежденный о существовании тайного общества и основных его участниках, отклонил кандидатуру Фонвизина, так как он, по словам, царя, «известен за весьма большого масона».

Во главе губернии был поставлен местный уроженец, генерал 1812 года, сотоварищ Дениса Давыдова по партизанской борьбе Я. С. Храповицкий - человек достаточно уважаемый, однако и по возрасту, и по взглядам весьма далекий от вольнодумцев 1810-х годов. Этим назначением правительству удалось «потрафить» чувствам ветеранов, «военного дворянства» и в то же время ослабить политический акцент губернской оппозиции.

Крашнево

Попытка использовать благоприятные обстоятельства, организовать смоленскую думу Союза Благоденствия и даже взять управление губернией в свои руки декабристам не удалась, однако сама идея такой «думы» многозначительна. Хорошо знавшие губернию Фонвизин и его друзья видели здесь какие-то обнадеживающие возможности для освободительного движения. Судя по всему, стихия недовольства, политическая оппозиция на Смоленщине были значительнее, чем это известно нам сегодня. «В то время людей, действующих в смысле тайного общества, и сами того не подозревая, было много в России», - говорится в «Записках» Якушкина. На очереди стояла консолидация этих сил. И хотя декабристской думы на Смоленщине не получилось, определенное движение в этом направлении среди местного передового дворянства все-таки ошутимо.

По свидетельству И. А. Шестакова, сына упомянутого краснинского судьи, во время административного террора барона Аша Смоленск почти опустел. Лучшие семьи в знак протеста покидали город и разъезжались по своим поместьям. В результате некоторые из этих уездных «гнезд» все больше становятся очагами культуры, просвещения и политического вольнодумства. И в истории декабристского движения должны быть отмечены такие смоленские места, как Жуково, Якушкино, Закуп, в котором у своей сестры, вдовы известного писателя и профессора русской литературы Г. А. Глинки, подолгу жил В. К. Кюхельбекер, Дорогобуж с расквартированным там Лубенским полком П. Х. Граббе и др. Однако главным пунктом, в котором, как правило, сходились пути смоленских «либертенгов» 20-х годов, было ельнинское Крашнево, принадлежавшее отставному генерал-майору Петру Петровичу Пассеку (1775—1825). Богатый и хлебосольный дом стареющего вольтерьянца был известен далеко за пределами губернии («знаменитое Крашнево», говорится в одном из писем) и всегда полон гостей, хотя окрестные Собакевичи предпочитали объезжать его стороною. Бросается в глаза, что почти все приезжавшие на Смоленщину декабристы перебивали у Пассека, стали здесь своими людьми: Якушкин, Граббе, I М. Фонвизин, Кюхельбекер, вероятно — М. Муравьев из Рославльского уезда, несколько позже Повало-Швейковский... Здесь в 1824 году переживал свою злосчастную любовь к юной племяннице Пассека (будущая жена поэта Дельвига) казненный вскоре Каховский. Частым гостем Крашнева был член знаменитого литературного кружка «Арзамас», вольнодумный знакомец Пушкина М. А. Салтыков.

С Крашневым связаны самые культурные семейства губернии: Храповицкие,

Вонлярлярские, ельнинские Глиники и др. Мы видим, что Крашнево Пассека, куда как магнитом притягивало свободомыслящих современников, становится для них каким-то связующим пунктом, и вряд ли такое его положение - дело простого случая. Пассек умер за полгода до восстания, его дело как члена тайного общества следственной комиссией специально не рассматривалось, и нам, вероятно, остались неизвестными многие подробности, характеризующие подлинную роль этого очага декабризма. Однако и дошедшие немногие сведения очень многозначительны.

Примечательно, например, что вскоре после московского съезда именно в кругу близких Пассеку лиц, предполагаемых членов «смоленской думы», родилась известная декабристская кампания по борьбе с голодом в Смоленской губернии, в ходе которой по подписке были собраны значительные средства и накормлены тысячи отчаявшихся, голодных крестьян. Группа оказалась настолько деятельной и авторитетной, что правительство, почувствовавшее во всем этом какую-то скрытую, организованную силу и усмотревшее подрыв своего авторитета, забеспокоилось.

Это уже было не Слово, а Дело. «Ты ничего не понимаешь, - говорит Александр I князю Волконскому, - эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении, к тому же оно имеют огромные средства, в прошлом году во время неурожая в Смоленской губернии они кормили целые уезды». Смоленская акция 1821 года произвела впечатление и на передовые круги русского общества, в которых репутация местного дворянства была в ту пору довольно высока. Недаром декабрист Н. И. Тургенев (тоже участник московского съезда и недавней подписки), составляя в 1821 году известный свой проект ликвидации крепостного права, одним из трех общерусских центров освобождения крестьян, помимо Москвы и Петербурга, предлагает сделать Смоленск. Для такого выбора должны были быть какие-то основания - и они у Тургенева были. Он хорошо знал, например, о попытке Якушкина освободить своих вяземских крестьян. Могли быть ему известны и крашневские опыты Пассека, который, по свидетельству Якушкина, затратил 20 тысяч рублей на подъем крестьянских хозяйств и «до невероятности улучшил их состояние». Кроме того, Пассек ввел в своих имениях своеобразное самоуправление: крестьяне у него сами чинили «суд и расправу», распоряжались рекрутским набором и др.

Другим направлением в деятельности декабристов среди простого народа была, как известно, просветительская и пропагандистская работа. В 1819 году при Союзе Благоденствия создается «Вольное общество учреждения училищ взаимного обучения», одним из руководителей которого становится наш земляк Ф. Н. Глинка. Ближайшей конкретной целью нового общества было распространение так называемых «ланкастерских школ», методика которых позволяла вовлекать в обучение сразу большую массу учеников. И одна из лучших ланкастерских школ декабристской ориентации возникает в Крашневе.

Крестьянские мальчики здесь не только учились грамоте, но и получали понятие о естественных правах человека, о человеческом достоинстве (например учились читать по запрещенной книжке «О правах и обязанностях гражданина»). «При Пассеке в имении было много грамотных крестьян», - вспоминает Якушкин.

Крашнево П. П. Пассека - незаурядное явление 10-20-х годов XIX века. Это не только один из самых оживленных центров культурной жизни, но и настоящий очаг вольнодумства, главный узел декабристского движения нашего края. Здесь претворялись в декабристские идеи просвещения народа и облегчения участи крепостных крестьян. Не исключено, что после неудачи с губернаторством М. Фонвизина именно Крашневу была отведена роль организующего центра смоленской политической оппозиции.

За пределами губернии

История декабризма на Смоленщине была бы неполной без упоминания тех участников движения, которые, будучи нашими земляками, действовали главным образом за пределами губернии, по местам своей службы. Таков известный поэт, полковник Ф. Н. Глинка, один из организаторов Союза Спасения и руководителей Союза Благоденствия, на петербургской квартире которого в январе 1820 года впервые в истории России было

принято решение бороться за установление республиканского строя (сам Глинка, впрочем, держался более умеренных политических принципов). Таков и один из авторитетных деятелей Южного общества полковник И. С. Повало-Швейковский.

О других мы знаем сегодня до обидного мало. Так, до 1821 года состоял в Союзе Благоденствия полковник артиллерии Владимир Андреевич Глинка (1790-1862), дальний родственник Кюхельбе-Икера, которому он позднее помогал перевестись на поселение в Курган. По словам С. Муравьева и М. П. Бестужева-Рюмина, как свой человек, как «полупринятый» среди декабристов был известен штаб-ротмистр Белорусского гусарского полка Павел Семенович Веселовский (родился в 1788 году в сельце Покровское Смоленской губернии). Согласно показаниям М. Муравьева-Апостола и А. В. Поджио, к Союзу Благоденствия принадлежал камер-юнкер, князь Павел Алексеевич Голицын (1796-1861), державшийся, однако, очень умеренных взглядов: был противником республиканского строя и возражал против покушения на Александра I. Не попал в «Алфавит декабристов», но, по некоторым сведениям, участвовал в движении на раннем его этапе один из смоленских Реадов.

В 1825 году вступил в Северное общество смолянин по рождению, поручик кавалергардского полка Петр Павлович Свинын (1801-1882). Близок декабристам адъютант генерала Закревского, смоленский дворянин Николай Васильевич Путята (1802-1877). Он настолько свой в их среде, что декабристы Пестель, Волконский и Оболенский считали Путяту действительным членом тайного общества. И таких было немало: Дмитрий Грохольский! Демьян Цевловский в Южном обществе и др. Отметим и любопытное предание о «прикосновенности» к делу одного из Барышниковых, которому якобы удалось выйти из следствия ценой огромной взятки самому Бенкендорфу (Барышниковы — одно из богатейших семейств губернии).

Конечно же, многие из этих и других, неизвестных нам участников движения время от времени бывали на Смоленщине и тоже должны были способствовать пробуждению гражданского сознания и духа протеста среди своих земляков, однако «улики» такого рода не сохранились или еще не выявлены.

Таким образом, дворянское освободительное движение на Смоленщине, зародившееся еще среди местных последователей Новикова и Радищева, достигает серьезного размаха в период с I 1812 по 1825 годы. После неудачной попытки создать в губернии специальную декабристскую организацию — смоленское отделение Союза Благоденствия, своеобразным центром оппозиционных сил становится ельнинское Крашнево. Группировавшиеся вокруг него декабристы и близкие к ним люди ведут работу по просвещению народа и облегчению его участи. Однако в целом декабристское движение на Смоленщине осталось недостаточно организованным, разобщенным, а в идеологической области, за немногими исключениями, отличалось умеренным, либеральным характером, обусловленным традиционно консервативным настроением основной массы здешнего дворянства.

СТУКАЧ С БЛАГОРОДНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ

История дворянского либерального движения на Смоленщине - все еще недостаточно изученная тема нашего краеведения. В такой ситуации драгоценен всякий дополнительный штрих, каждый маленький новый факт, однако обращаться с ними следует с особенной осторожностью: взятые сами по себе, при неясных связях и отсутствии полной картины, они могут навести на неоправданные предположения и выводы. Примером такой поспешности, на наш взгляд, является зачисление в декабристы Кашталинского и Заботкина — двух смолян, проходивших по делу о 14 декабря зимой 1826 года.

Авторы книги «Декабристы-смоляне» (Смоленск, 1951) В. С. Орлов и В. Г. Вержбицкий без тени сомнения рассматривают арест Кашталинского и Заботкина и последующие допросы в петербургской следственной комиссии как доказательство их связи с освободительным движением и ставят их в ряд с хорошо известными

декабристскими деятелями нашего края. С легкой руки первых исследователей это утверждение вошло в другие статьи и книги — например в сборник «Живет в веках твой подвиг благородный» (М., 1967). И в самом деле, все здесь на первый взгляд логично и правильно, все, казалось бы, так и есть. Кашталинский и Заботкин не только привлекались по делу 14 декабря, но и были включены по окончании следствия, в 1827 году, председателем следственной канцелярии А. Д. Боровковым в составленный им реестр — так называемый «Алфавит декабристов». И все-таки мкт не имеем права причислять этих людей к «гордой кучке, полной доблести и отваги» (Герцен). Дело в том, что у составителя «Алфавита» была своя, канцелярски-юридическая логика работы, согласно которой он заносил в свой список не только «членов злоумышленных тайных обществ», т. е. собственно декабристов, но и вообще всех лиц, так или иначе «прикосновенных к делу, произведенному высочайше утвержденной следственной комиссией». Прикосновенность же эта могла быть самой разнообразной: и справа, и слева, и просто по случайному стечению обстоятельств. Поэтому и вышло так, что среди 579 зафиксированных Боровковым подследственных лиц соседствуют и члены тайных обществ, и «полупринятые», и просто сочувствующие, и вовсе непричастные к движению, и даже его недоброжелатели и противники — например 18 доносчиков. Обо всем этом и о каждом персонаже в отдельности легко узнать из самого «Алфавита» и из подробных комментариев к нему Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса (См.: Материалы по истории восстания декабристов. Т. VIII. Л., 1925).

Так что же произошло с двумя нашими земляками, кем они были на самом деле? Чтобы понять это, попробуем сначала воссоздать некоторые существенные обстоятельства и общую атмосферу губернской жизни в том приснопомытном тревожном 1826 году.

После драматических декабрьских событий на Сенатской площади в Петербурге и Черниговском полку на Украине, когда повсеместно начались подозрения, обыски и аресты, когда по всем дорогам поскакали фельдъегери, а в церквях заблаговестили о счастливом избавлении престола и отечества от извергов рода человеческого, в обществе поднялся переполох и началась самая натуральная паника. До смолян, конечно же, так или иначе должны были дойти слухи об аресте целого ряда их земляков, знакомых, а то и родственников: Федора Глинки, Каховского, Палицына в Петербурге, Якушкина и Свинына в Москве, Повало-Швейковского и Грохольского на юге или, скажем, Креницына - одного из зятьев памятного всем губернатора К. И. Аша. Поскольку из кратких официальных сообщений через редкие газеты ничего определенного узнать было нельзя, по губернскому захоластью поползли самые устрашающие и невероятные слухи. Много в ту пору сгорело писем и дневников, которые были бы так полезны современным историкам. Самые безобидные провинциальные либертены почувствовали себя неудобно. Началось доносительство. Тут надо еще учесть, что подавляющая масса дворянства, тем более провинциального, была глубоко чужда декабристской «французской заразе» и вполне искренне, а не только в видах перестраховки честила бунтовщиков изменниками, ворами, мерзавцами - в лучшем случае видела в них легкомысленных мальчишек, которых следует примерно посечь, гордецов и масонов. Любопытные документы такого характера содержит фонд дорогобужских дворян Пенских в Смоленском областном архиве. Неизвестный автор рукописи в самых верноподданнических оборотах повествует о петербургских событиях, которые он, судя по всему, наблюдал воочию, называет их «пагубным примером буйства», а декабристов — преступниками и безумцами (ГАСО, ф. 107, №84, св. 3).

Еще характернее для массового общественного сознания 4 1826 года переписка смоленского помещика С. А. Хомякова с двумя его сыновьями: находившимся в Петербурге начинающим дипломатом Федором и выехавшим за границу Алексеем, будущим знаменитым поэтом и философом, — все трое на редкость единодушны в отрицательной оценке декабрьского «возмущения». «Ты, может быть, читал... подробности о признаниях этих гнусных заговорщиков и об их бессмысленных и человекоубийственных планах, — пишет отец Хомяков 3 мая из своего сычевского имения Липицы. — Их

преступление есть оскорбление нации... Для русских крестьян свобода заключалась бы в свободе напиваться».

Разумеется, в подобной обстановке не только выражение поддержки, но даже простое человеческое сочувствие к декабристам было сопряжено с непредсказуемыми последствиями и практически исключалось. Напуганная местная администрация в своем стремлении доказать личную преданность, проявить бдительность, выслужиться готова была производить аресты по малейшему подозрению, за неосторожное слово, за двусмысленное высказывание. Не исключалось и сведение личных счетов. Примечательны в этом смысле злоключения отставного поручика 3-го егерского полка, смоленского дворянина Селиверста Путяты. Уволенный еще в 1821 году из армии «за дурное поведение» со своего рода волчьим аттестатом, Путята несколько лет скитался по городам и весям обширной Российской империи (Смоленск, Новгород, Чернигов, Киев, Харьков, Воронеж, Саратов, Казань, Пермь...), однако нигде не мог устроиться ни на военную, ни на гражданскую службу — не брали. Узнав (уже в Тобольске) о смерти Александра I, он поспешил в Петербург с целью испросить у нового царя прощение и помощь в бедственном своем положении, однако в Новгороде неожиданно стал жертвой упомянутой «охоты на ведьм»: как подозрительного человека его арестовали и посадили в местный острог. В довершение беды в бумагах арестованного нашли какой-то стихотворный опус, нечто вроде самодельной поэмы под названием «Два дня моего отчаяния», в которой бдительные новгородские борцы с революцией усмотрели безнравственность и «дерзкие выражения». Этого по тому времени оказалось более чем достаточно, чтобы 14 августа 1826 года препроводить незадачливого Путятю в Петербург и поместить в крепость, где его и допрашивал по делу о декабристах сам генерал-адъютант Левашов. На допросе, наконец, выяснилось, что никаких заговорщиков подследственный не знал, в тайных обществах не бывал, что «дерзкие выражения» относятся только к графу Аракчееву, звезда которого уже начала закатываться при новом императоре, и что поэма вообще написана по личному поводу, с отчаяния, «в горестном положении, не имея пропитания и нигде не получая приюта». Тем не менее имя смолянина Селиверста Путятты тоже было занесено на страницы «Алфавита членов злоумышленных тайных обществ».

Столь же неисповедимы были пути, приведшие в «Алфавит» другого смоленского дворянина, упомянутого уже Кашталинского (тоже отставного поручика). К сожалению, в нашем распоряжении нет никаких дополнительных биографических сведений об этом любопытном человеке, поэтому рискнем высказать одно более или менее вероятное предположение. Род Кашталинских, как, впрочем, и Путят, был давно и хорошо известен на Смоленщине. Еще при Екатерине в губернии был знаменит Матвей Федорович Кашталинский. Вышедший, подобно хорошо знавшему его Потемкину, из простой местной шляхты, Кашталинский тоже сделал неплохую карьеру в Петербурге и даже стал весьма влиятельным при дворе человеком. Светский щеголь, гастроном и карточный игрок, он в то же время оставался добродушным, приветливым человеком, не порывавшим связей со своей «малой родиной», и, по свидетельству Сергея Глинки, обычно выступал «ходатаем за всех просителей, приезжавших из Смоленска по делам в Петербург». Где-то ближе к старости он и сам возвратился на Смоленщину и в начале XIX века жил здесь в своем имении Яново. Был у Матвея Федоровича и сын. Уж не этот ли молодой человек и попал теперь в историю с декабристами?

Как бы там ни было, но в начале 1826 года, т. е. в самый разгар благонамеренной урапатриотической свистопляски, к смоленскому генерал-губернатору князю Хованскому поступил донос о том, что поручик Кашталинский при этапировании через город польских студентов выражал возмущение этим фактом и даже призывал «собрать партию противу права и воли покойного государя». В связи с недавними петербургскими событиями обвинение звучало очень серьезно, и 14 февраля Кашталинского доставили в Петербург и поместили на главной гарнизонной гауптвахте. Однако и в этом случае гора родила мышь. Кашталинский на допросах все отрицал, ни в чем не сознавался, из декабристов его тоже

никто не упоминал, и, таким образом, у следствия не оказалось против него никаких других улик, кроме смоленского доноса. Не дал ощутимых результатов и произведенный по месту жительства полицейским досмотр - кроме разве что «приметного насчет религии вольнодумства».

В итоге уже 13 марта поручик был возвращен в Смоленск - «для дальнейшего на месте исследования и учреждения за ним секретного надзора». С настоящими декабристами так не поступали. Судя по всему, Кашталинский и в самом деле не имел связей с организованным движением, с тайными обществами, а был обычным вольнодумцем декабристского толка в духе 1810-1820-х годов. «В то время людей, действующих в смысле тайного общества и сами того не подозревая, было много в России», - вспоминал много лет спустя И. Д. Якушкин.

Например, к этому же типу молодого либерального дворянина тех лет из числа наших земляков принадлежал Николай Григорьевич Цевловский, небогатый, европейски образованный помещик из смоленского Поречья. Поклонник Вольтера, Руссо, Пушкина и Мицкевича, он резко выделялся среди окрестных собакевичей, критиковал российские феодальные порядки, заботился о своих крестьянах и завел домашний театр, на котором ставилось даже «Горе от ума» Грибоедова. И на него поречские крепостники не раз строчили доносы и жалобы - о неподобающих для дворянина мнениях, о «возмущении им крестьян против помещичьей власти» и т. п. От крупных неприятностей Николая Григорьевича спасали лишь дружеские отношения с предводителем да влиятельные светские знакомства. Во всем этом тоже легко узнается типично просветительский, декабристский комплекс идей, увлечений, духовных интересов - тем не менее декабристом Цевловский, как и Кашталинский, никогда не был.

И уж совершенно недопустимым, даже оскорбительным для памяти декабристов недоразумением является включение в их круг смоленского губернского регистратора Степана Заботкина. Дело не в мелкой сошке и не в подьяческой сущности этого человека - дело в том, что именно Заботкин был тем «заботливым» человеком, который накатал донос на своего земляка Кашталинского. Правда, получилось у него не слишком удачно и гладко, так что пострадавший Кашталинский мог испытать даже некоторое удовлетворение, узнав, как обернулась эта история для самого осведомителя. Князь Хованский, получив донос, счел за благо отправить в Петербург и одного и другого - там, мол, разберутся, что, как и почему (уж не с одним ли фельдъегерем и не в одном ли экипаже повезли их в столицу?). Доносчик, таким образом, и сам вынужден был предстать перед страшной комиссией, давать ей свои показания и объяснения, которые, видимо, оказались не слишком удовлетворительными, поскольку Заботкина не просто вернули в Смоленск, но и повелели учредить за ним негласный полицейский надзор. Аккуратный же Боровков спустя некоторое время навсегда пропечатал жалкое имя смоленского регистратора на скрижалях своего грозного «Алфавита». Уже одно это приключение должно было на всю жизнь отбить у нашего земляка охоту фискалить на своих ближних. Но что стало бы с ним, какой ужас охватил бы благонамеренного Степана Филимоновича, если бы он узнал, что его вообще объявят заединщиком Каховского, Пестеля и Рыльева, смоленским декабристом, врагом Бога, царя и отечества!

Чтобы снять с его приказной души этот непосильный груз и не оказывать ему больше незаслуженной посмертной чести, укажем, наконец, истинное его место в истории - среди всякого рода предателей, стукачей, слухачей, сексотов и как они там еще назывались в прошлых и нынешнем веках. Настоящая компания нашего Степана Заботкина - не Федор Глинка, не Петр Пассек и не Иван Якушкин, а доносившие на них и их товарищей Грибовский, Бошняк и пресловутый Шервуд-Верный, который, между прочим, тоже успел пожить некоторое время на многотерпеливой смоленской земле. Говоря известными словами М. Муравьева, который начинал на Смоленщине как декабрист, а закончил в Польше как палач, Заботкин был совсем не тот, кого вешают, а из тех, кто вешает. Поэтому он должен

быть исключен, наконец, из списка декабристов-смолян и отнесен к тем, кто составляет не гордость, а позор нашего края.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А. А. ИВАНОВСКОГО

Андрей Андреевич Ивановский (1791-1848) принадлежит к числу практически забытых литераторов позапрошлого века. МеЖДУ тем любопытные стихотворные и прозаические опыты, литературно-издательская работа, разыскания по истории Смоленщины дают ему несомненное право на наше внимание, на нашу память.

Почти тридцать лет жизни смоленского дворянина Ивановского прошло на земле его «малой родины». Здесь он появился на свет, учился в гимназии, здесь началась его служба: сначала чиновником казенной палаты, потом в канцелярии гражданского губернатора К. И. Аша. Барон Аш, судя по всему, благоволил к молодому человеку: спустя несколько лет мы уже находим его на высокой должности управляющего губернской канцелярией. Андрей Ивановский, однако, был известен в Смоленске не только как влиятельный, близкий правящему семейству чиновник, но и как начитанный, культурный человек, способный литератор, без стихов которого, похоже, не обходилось ни одно торжественное событие. Написанные в традиционной, торжественной манере XVIII века, его оды и послания время от времени появлялись и на страницах известных московских и петербургских журналов. В них он славит доблесть сограждан в недавней войне с Наполеоном («Бесстрашен Россов дух: опасность им - отрада, смерть за царя - награда»), скорбит, глядя на разоренную родину и пепелище отцовской усадьбы («Где наш отцовский кров? Давно под прахом тлеет»), восхищается мужественной красотой своего города-ветерана, крепостными башнями на приднепровских кручах и т. п. Все это - типичные мотивы послевоенной патриотической лирики 1810-х годов, правда, с явным региональным, смоленским отпечатком. Чувствуется, что Ивановский, подобно большинству тогдашней молодежи, находится под впечатлением от победы, горд за отечество и преисполнен самых радужных ожиданий.

Его ранние стихотворные опыты были далеки от настоящей поэзии, содержали изрядную дозу графоманства, а подчас отдавали и тем, что принято называть клиентизмом, - как, скажем, А пышные послания к баронессе Аш и ее детям. «Я не хвалю тебя - королевы Виртембергской». Иначе говоря, риторические стихо-Ч творные упражнения Ивановского ничем пока не выделялись в потоке массовой литературной продукции 1810-х годов, среди бесчисленных од, элегий, посланий, которыми пробавлялась, как правило, тогдашняя российская периодика.

И все же усилия смоленского литератора были замечены не только в родном городе: 29 апреля 1818 года Ивановский избирается членом-корреспондентом Петербургского Общества любителей российской словесности — авторитетной литературной организации, ведущее место в которой в конце 1810—начале 1820-х годов принадлежало Ф. Глинке, К. Рылеву, братьям Бестужевым, Н. Гнедичу, А. Дельвигу, А. Грибоедову и др. Дружеские отношения связывают Ивановского в это время с братьями Глинками. «Много минут светлых, романтических провели мы вместе, — будет вспоминать позднее Федор Глинка. — Я не забыл прелестный летний вечер в Смоленске, когда среди неги природы и юных возвышенных ощущений мы читали вместе письмо Руссо к Сесилии». Сергей Глинка охотно помещал в своем журнале «Русский вестник» сообщения из Смоленска и стихи Ивановского, а тот, в свою очередь, был прилежным подписчиком и читателем как журнала, так и «Сочинений» и «Истории» своего земляка. Был в числе знакомых Ивановского и третий брат — Иван Глинка. В эти же годы, судя по всему, завязываются доверительные отношения и с братьями Андросовыми, старший из которых — Василий Петрович - станет издателем журнала «Московский наблюдатель» и прославится как лучший русский статистик своего времени.

К исходу 1810-х годов Ивановский, таким образом, стал заметной фигурой местного образованного общества. Без учета его деятельности и влияния наши представления о культурной жизни тогдашнего Смоленска оставались бы весьма неполными.

В канун нового, 1820-го года, 30 декабря, умер смоленский губернатор барон Аш, в связи с чем начинается давно ожидавшаяся оппозицией смена местных административных кадров. В числе прочих А. А. Ивановский также оставляет свою должность, а скоро и вообще уезжает из Смоленска в Петербург и поступает там на службу в судебное ведомство канцелярии военного министра. Начинается кульминационная глава его интересной биографии.

Столичная жизнь резко расширяет круг светских и литературных связей Ивановского, дает ему новые возможности для духовного развития и творчества. Теперь его симпатии явно на стороне молодого поколения российских поэтов и прозаиков из так называемой «романтической школы». Он зачитывается распространяющейся в списках комедией «Горе от ума», переживает бурное увлечение первыми повестями Александра Бестужева. Отметим, что с обоими своими кумирами смолянин свел личное знакомство. Трудно сказать, где и когда произошла первая встреча с Пушкиным, но в 1828 году граф Бенкендорф, выбирая среди своих подчиненных подходящего человека для деликатного визита к великому поэту, останавливается на Ивановском — по причине его с Пушкиным «хорошего знакомства», как объяснил Бенкендорф. Через Ивановского адресуется к Пушкину из своей петрозаводской ссылки и Федор Глинка.

Тяжелейшим испытанием стало для Ивановского восстание декабристов. Судьба поставила его в крайне сложное, двусмысленное положение. Как чиновник военно-судебного ведомства волею Николая I он был включен в качестве делопроизводителя в состав высочайшей следственной комиссии по делу заговорщиков. Вряд ли Ивановский, при все обширности его связей, знал что-нибудь о движении, об «обществах», о конкретных политических намерениях декабристов, однако среди арестованных, оказалось немало близких ему людей, знакомством с которыми он всегда дорожил, талантами которых привык восхищаться. К чести нашего земляка, он достойно исполнил свою более чем незавидную роль. Как выяснили исследователи декабризма, Ивановский (разумеется, в пределах своих скромных должностных полномочий) использовал всякую возможность для помощи подсудимым. Считается, например, что он немало способствовал «очищению» и освобождению А. С. Грибоедова. И наконец (тут уж, видимо, проявилась его страстная привязанность к отечественной словесности), он вообще осуществил крайне дерзкую рискованную операцию: изъясил из следственных дел ряд ценнейших для последующей истории автографов, в том числе рукописи А. Бестужева, Корниловича, письма Пушкина, Вяземского, Грибоедова, Дениса Давыдова и др. — общим числом свыше 70 — и до конца дней сохранил их тайно в своем имени.

Не изменил себе Ивановский и в годы последекабристской реакции. Пожалованный царем пожизненной двухтысячной пенсией («за отличные труды в комиссии») и взятый в ближайший штат самого Бенкендорфа, он остается верен прежним понятиям, рым друзьям и даже некоторым образом продолжает их либеральное дело. Так, своего рода отблеском, зарницей былого вольна думства стал собранный и изданный им в 1829 году художественный альманах «Альбом северных муз».

К составлению альманаха Ивановский приступил почти сразу же после процесса декабристов. Считается, что с помощью этой книжки в случае ее успеха он намеревался получить средства для своего сосланного друга А. О. Корниловича и его семьи. Расчет был небезоснователен, поскольку к участию в сборнике Ивановскому удалось привлечь самых авторитетных писателей тех лет, лучшие литературные силы: Пушкин, Вяземский, Языков, Ф. Глинка, Туманский, Подолинский, Шевырев, Сомов, Булгарин, Сенковский, Ознобишин, Козлов, Раич и др. Несомненно, только известный, уважаемый в литературном мире человек мог объединить под одной обложкой столько маститых современников.

«Альбом северных муз» примечателен не только созвездием имен и талантов, не только добротным художественным качеством большинства материалов, но и своим вольнодумным направлением, вызывающим, в условиях всеобщего испуга и верноподданничества, подтекстом. Достаточно сказать, что в альманахе (пусть без имен и

фамилий — под звездочками) опубликованы стихотворение казенного Рылеева «На смерть Байрона» и отрывок из поэмы сосланного А. Бестужева «Андрей, князь Переяславский». Кроме того, явно соотносено с потрясшими Россию недавними событиями центральное произведение сборника - историческая повесть из времен Петра I «Татьяна Болтова», подписанная литерами «А. И.».

Борис Болтов, сын старосты подмосковного села Измайлова, и выросшая в его семье как воспитанница дочь стрелецкого головы Татьяна уже давно любят друг друга, и ничто, казалось бы, не может помешать соединению молодых людей. Глава дома готов благословить их брак. Скоро свадьба. И тут, как снег на голову, объявляется отец невесты, много лет тому назад обвиненный в измене за недонесение царю о стрелецком заговоре и скрывавшийся с тех пор от правосудия. Татьяна узнает правду: она дочь государственного преступника! Не желая позорить собою Бориса, она отказывается от замужества. Надежды влюбленных на счастье становятся проблематичными.

Узловой эпизод повести, ради которого задуман и выстроен весь сюжет, - суд над стрельцом Медведевым, раскаявшимся отцом Татьяны, и столкновение при этом двух «правд», двух понятий о справедливости, наказании и милосердии. Знаменитый петровский вельможа, «князь-кесарь» Ромодановский в своей фанатичной защите престола не знает компромиссов и пощады, он убежден, что «страхом всего удобнее держать умы в беспрекословном повиновении». (Разве не так, заметим, держала себя в недавнем деле декабристов николаевская комиссия да и сам царь, приговаривая одних к виселице, других — к десятилетиям каторжных работ?) Автор повести явно не согласен с неумолимым Ромодановским и противопоставляет «князю-кесарю» другого судью - спокойного, мудрого и человеческого Тихона Ивановича Стрешнева, согласно которому «большая часть наших заблуждений суть мгновенные заблуждения страстей и убеждением и кротостью можно в самом закоренелом злодее пробудить усыпленную совесть». «Милость есть удел царей, — вторит Стрешневу третий участник спора, Мусин-Пушкин, - и облегчение судьбы кающегося виновника не есть нарушение закона».

Воплощением высшей государственной мудрости и образцом справедливого монарха предстает в повести сам царь Петр I, который в конце концов склоняется к «правде» Стрешнева и подает свой, решающий голос за помилование стрелецкого головы, тем самым возвращая утраченное счастье и Борису с Татьяной. Этот явно идеализированный, гуманистически истолкованный образ Петра в контексте 1828 года также должен был восприниматься читателями как прозрачная укоризна Николаю I и его судьям, как призыв к «облегчению судьбы кающегося виновника».

Наличие в повести осознанной исторической параллели к процессу декабристов, к тогдашним спорам о «преступлении и наказании» представляется нам очевидным.

Кто был автором «Татьяны Болтовой»?

Длительное время у историков русской литературы не было сомнений по этому поводу и автором повести признавался не кто иной, как сам издатель альманаха А. А. Ивановский. Однако в 1932 году А. Г. Грумм-Гржимайло, сославшись на опубликованное им письмо декабриста А. О. Корниловича от 29 ноября 1832 года, в котором тот упоминает о каких-то своих повестях, помещенных в неназванном альманахе Ивановского, изъяснил подпись» как «Александр Иосифович», т. е. именем и вариантом отчества Корниловича. По мнению Грумм-Гржимайло, декабрист является автором и другой повести о Петре I из «Альбома северных муз» — «Утро вечера мудренее», хотя подписана она совсем другим псевдонимом: «Старожилов».

Мнение Грумм-Гржимайло и в самом деле представляется основательным, однако, на наш взгляд, вопрос о «Татьяне Болтовой» нельзя считать закрытым, так как и в пользу первоначальной версии — об авторстве Ивановского — можно привести дополнительные, ранее не использованные аргументы.

Прежде всего обращает на себя внимание, что криптоним «А. И.» употреблен в альманахе дважды: под повестью о Татьяне Болтовой и на титульном листе — как

инициалы издателя («Альманах на 1828 год, изданный А. И.»). Принадлежность последнего псевдонима Ивановскому является бесспорной. В таком случае, трудно поверить, что он допустил в составленной им книге одно и то же обозначение для себя и для своего автора, даже с учетом конспиративности материала и стремления скрыть от цензуры предосудительное декабристское имя. С другой стороны, будь это все-таки Корнилович, зачем использовать для него сразу два псевдонима: «А. И.» и «Старожилов»? К тому же, и в житейском обиходе, и в письмах Корниловича всегда называли «Осиповичем», а не «Иосифовичем». Осипом именуется своего отца и сам декабрист.

Усомниться в авторстве Корниловича побуждает и сама повесть о Татьяне Болтовой. Ее содержание, как мы видели, является прозрачной аллюзией к процессу декабристов - следовательно, и написана она должна быть не до, а после событий 1825 года.

В самом деле, как-то мудрено представить, что автор повести о кающемся бунтовщике и всемогущем монархе сам В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ является заговорщиком и идет на Сенатскую площадь для борьбы с царем. Однако еще менее вероятно, что повесть создана Корниловичем после 14 декабря, поскольку он был арестован в первую же ночь после восстания, затем содержался в Петропавловской крепости, Читинском остроге и снова в Петропавловской крепости, причем разрешение иметь книги и письменные принадлежности было дано ему лишь в 1828 году, когда альманах Ивановского уже был практически сформирован.

Сильным доводом Грумм-Гржимайло в пользу Корниловича, заслуживающим специального разговора, является ссылка на общеизвестную приверженность декабриста к эпохе Петра I, его историографические исследования и художественные сочинения об этом времени. Авторитет Корниловича-историка действительно стоял очень высоко, и даже Пушкин берет у него кое-какие подробности для своего «Арапа Петра Великого». Однако Грумм-Гржимайло, судя по всему, не знал, что Ивановский тоже имел подобные наклонности, тоже не был новичком как вообще в российской историографии, так и в литературе о Петре I. Может быть, именно это совпадение интересов и сдружило их с Корниловичем где-то в первой половине 1820-х годов: одна из статей декабриста даже написана была им в гостях у Ивановского, в его псковской усадьбе.

Интерес к истории проявился у Ивановского еще в смоленские годы. Похоже, сама атмосфера, аура древнего города, только что снова пережившего событие мирового масштаба — наполеоновскую эпопею, побуждала тогдашних смолян к историческим штудиям.

«Вот башни — чада древних лет,

Они нас в думу погружали», — говорится в послании Ивановского к сыну губернатора, молодому барону Ашу. Не случайно также Ивановский является одним из немногих влиятельных людей города, кто без насмешки, а, наоборот, с сочувствием и вниманием относился к неусыпным самодеятельным историческим разысканиям Никифора Мурзакевича — бедного священника Одигитриевского прихода и первого серьезного историографа Смоленска. Именно через Ивановского отец Никифор добился в 1818 году - причем, с публикацией в столичных журналах — известного «Приглашения барона Аша» к сбору и охране исторических документов и реликвий в Смоленской губернии. Это была первая в российской провинции официальная инициатива такого рода! По мнению изучавшего ее Л. В. Алексеева, рука Ивановского — «человека вполне образованного и с широким кругозором» — ошутима и в тексте памятной прокламации. Думается, мы должны ввести этого человека не только в число литераторов, но и в число первых краеведов нашего города, поскольку, по свидетельству того же Мурзакевича, поощряя изучение местной старины, он и сам занимался «описанием истории нашествия французов на Смоленск».

Входило в сферу исторических интересов Ивановского и петровское время. Свидетельство этому - публикация журналом

«Русский вестник» в 1818 году (№ 4) его очерка под названием «Милосердие императора Петра I», по сюжету и общей направленности весьма близкого повести

«Татьяна Болтова». Очерк этот небезынтересен и для историков Смоленска, так как являет собой самую, по-видимому, раннюю запись известного местного предания о помиловании царем Петром сосланных в город участников стрелецкого бунта.

В центре рассказа — Петр I и игуменья Вознесенского девичьего монастыря Марфа Рыдванская, а ситуация напоминает столкновение двух «правд» в «Татьяне Болтовой».

В связи с приездом в Смоленск молодого царя готовится публичная расправа над его противниками-бунтовщиками. Три дня и три ночи не знает покоя игуменья Марфа, сокрушаясь о предстоящем массовом смертоубийстве: «Взоры ее были мрачны, движения медленны, голос слаб». На четвертый она не выдерживает, бросается царю в ноги и закликает его о милосердии. Тронутый ее словами, Петр признается, что и сам во все дни своего пребывания в Смоленске испытывал некое душевное томление и терзался сомнениями. Марфа, таким образом, помогла царю понять самого себя. Следует эффектная сцена объявления царской милости стрельцам, уже изготовленным для казни на Сенной площади. В благодарность за сердечное облегчение Петр дарует монастырю 1200 рублей деньгами и 1000 пудов железа - на возведение новой каменной церкви — и даже собственноручно набрасывает план будущей постройки. Последним человеком, видевшим своими глазами этот царский рисунок в губернском архиве, был Никифор Мурзакевич — затем листок безвозвратно сгинул в кострах и пожарах двенадцатого года.

Для любителей местной старины рассказ Ивановского о Петре I интересен также рядом примечательных подробностей о пребывании царя в нашем городе, а также о бытовании легенды об этом. Ивановский, по его словам, почерпнул свои знания в беседах с 95-летним священником Георгиевской церкви Василием Петрашевичем, память которого хранила «множество рассказов из древних происшествий», сам же старец слышал когда-то все это от своего отца — свидетеля событий на Сенной площади. Достоверность рассказанного Петрашевичем Ивановский проверил у Мурзакевича, сославшегося, в свою очередь, на другого смоленского долгожителя — 90-летнего протопопа Вознесенского монастыря Гера-сима Карповича, а тот, опять-таки, на отца-«самовидца». «Сии две особы, присовокупляет от себя Ивановский, — были известны у нас по преклонности и бодрости лет, по правилам Веры, нравственности и здравого рассудка — следовательно, достойны доверия. За всем тем не имею права выдавать оное за несомненную истину».

Запоминаются в очерке Ивановского и некоторые мелочи бытового характера. В связи с опасениями Петра за свою жизнь, боязнью отравления пища для него готовится на кухне Вознесенского монастыря под присмотром самой Марфы Рыдванской и ею же доставляется к царскому столу — «в тройчатке, т. е. глиняном из трех отделений горшке», в каковых исстари принято было носить обеды работающим в поле крестьянам. В случае недомогания настоятельницы судки должны были опечатываться ее печатью и пересылаться с верной монахиней. Останавливался царь в Смоленске в доме воеводского секретаря Михаила Хри-санфовича Гедеонова — человека новой, петровской складки, образованного, знающего языки, поездившего по чужим странам. Располагался дом Гедеонова недалеко от Вознесенского монастыря по направлению к Днепровским воротам.

Вернемся, однако, к Ивановскому и «Татьяне Болтовой».

Как видим, стрелецкая тема и образ милосердного Петра I появились в творчестве Ивановского задолго до составления им «Альбома северных муз», так что повесть о Татьяне Болтовой вполне может быть рассмотрена как развитие темы, как вариант уже обработанного однажды «смоленского» мотива. И вообще личность царя Петра была дорога Ивановскому не меньше, чем его другу Корнилову. «По душе он наш современник и будет современником всех веков», — говорится о Петре в очерке 1818 года. Оба они: и Корнилов, и Ивановский — были людьми западной, «петровской» ориентации.

Приведенные здесь факты и соображения если и не решают вопрос об авторе спорной повести, то, во всяком случае, предостерегают от беспечного суждения. Обе версии имеют сегодня свои «за» и «против». Не исключена и третья — какая-то форма дружеского сотворчества, соавторства: например, использование Ивановским попавшего к нему из

следственных материалов текста Корниловича с последующей обработкой его в духе последекабристских настроений и проблем, в русле «смоленского» очерка 1818 года.

Вряд ли упомянутые в нашей статье произведения исчерпывают наследие Ивановского. Публикатор его архива и автор первой статьи о нем В. Е. Якушкин утверждал, что он до конца дней писал и поддерживал литературные связи, однако сочинения эти остаются нами не выявленными (за исключением маленькой мемуарной заметки о Пушкине). Вообще, надо заметить, что последние двадцать лет жизни Ивановского выглядят довольно загадочно. Непонятен внезапный уход в отставку в 1829 году - резкий обрыв успешно шедшей служебной карьеры. А чего стоит его пресловутый сундук с материалами по 14 декабря, бережно сохраняемый в псковском Гривине — имени покойной супруги Софьи Казимировны (урожденной баронессы Аш) с карандашными портретами Пестеля, Рылеева, Каховского, Муравьева, Бестужева, Трубецкого, Юшневского... Этот человек одинаково хорошо знал Смоленск и Петербург, литературный мир и коридоры власти — сам же остался неузнанным. По всем приметам, он находился в разладе со своим временем, с николаевской Россией, а может быть, и в разладе с самим собой. Похоже, что в 1830—40-е годы наш земляк пополнял ряды русских интеллигентов, которых несколько позже с легкой руки Ивана Сергеевича Тургенева стали называть «лишними людьми». «Ивановский, - писала в позапрошлом веке «Русская старина», — унес с собою в могилу многие тайны, которые, может быть, никогда не будут разоблачены историей».

Однако и того, что известно нам сегодня о деятельности Андрея Андреевича Ивановского, вполне достаточно, чтобы с уважением отнестись к его неординарной личности и найти для него подобающее место в истории и литературе нашего края.

ПОЭТ ОЗНОБИШИН В СМОЛЕНСКЕ

Литературная деятельность Дмитрия Петровича Ознобишина (1804-1877) продолжалась более полувека: с 1820 года, когда в альманахе «Каллиопа» появилось стихотворение «Трубадур», до семидесятых годов — однако в сознании читателей он был и остается поэтом пушкинского времени. Именно тогда, в 20-30-е годы, сложились его художественные вкусы, стихотворная техника, была достигнута наивысшая для него известность. На личности поэта лежит явственный отпечаток «золотого века» русской литературы, того блестящего окружения, в котором проходила его молодость.

Поступив в 1819 году в благородный пансион Московского университета, Ознобишин вошел здесь в известное «Общество друзей»

С. Е. Раича, в котором вместе с ним состояли такие знаменитые впоследствии люди, как В. Одоевский, М. Погодин, С. Шевырев, смолянин В. Андросов и др. Позднее происходит сближение с «любомудрами» (Д. Веневитинов, братья Киреевские, А. Кошелев и др.). «Архивные юноши», как известно, отличались высоким уровнем образованности и культуры, однако Ознобишин даже среди них выделялся осведомленностью в иностранных литературах, в том числе, что было уже совсем большой редкостью, в литературах восточных.

Оно, впрочем, и немудрено, если учесть, что, помимо древних (латыни и греческого), молодой человек овладел целым рядом живых, современных языков: французским, немецким, английским, итальянским, шведским, позднее арабским и персидским. С течением времени он становится известен не менее, чем оригинальный писатель, своими переводами из Хафиза, Низами, Саади, Парни, Ламартина, Гейне, Мура, А. Шенье, Шамиссо и др. Мы находим поэта в числе знакомых Пушкина, Грибоедова, Баратынского, Вяземского, Тютчева...

Интерес Ознобишина к другим народам и культурам, к новым местам и людям находил выражение также в его неутолимой страсти к путешествиям. То и дело под разными благовидными предлогами пускается он в ближние и дальние поездки, так что в конце концов исколесил едва ли не всю европейскую Россию, побывал на Кавказе, в Польше,

объездил Псковскую, Владимирскую, А Олонецкую губернии, не говоря уж о родном для него Поволжье.

Сосед Ознобишина по оренбургскому имению известный поэт Н. М. Языков, удивляясь беспокойной жизни своего друга, как-то даже предостерег его от малоподходящих для служителя муз дорожных излишеств и посоветовал подольше задерживаться дома, почаще держать в руках свою «золотую лиру».

Где ты странствуешь? Где ныне
Мой поэт и полиглот
Поверяет длинный счет?
Чать в какой-нибудь пустыне,
На берегу бесславных вод,
Где растительно живет
Человек, где и в помине
Нет возвышенных забот!
Или кони резвоноги
Мчат тебя с твоей судьбой
В дождь осенний, в тьме ночной
По извилинам дороги Нелюдимой и лесной?

Дружеские советы не действовали. В 1840-е годы Ознобишин еще шире раздвигает свои горизонты и посещает Англию, Францию, Италию, Швейцарию, Турцию, Мальту...

Трудно сказать, какие «извилины дороги», какие дела и связи привели «поэта-полиглота» — где-то в конце сороковых годов - в Смоленскую губернию, но, как бы там ни было, Ознобишин не только побывал в наших краях, но прожил здесь довольно длительное время — по меньшей мере несколько лет. При этом заботы его, судя по всему, были уже далеко не литературного свойства. Пик творческой деятельности Ознобишина остался позади, он утратил былые тесные связи с литературным процессом и, по некоторым сведениям, занимался таким малопоэтическим делом, как финансовые — по откупам — операции. Тем не менее и смоленский период его жизни не остался вовсе бесплодным в творческом отношении, ознаменовался рядом публикаций, имеющих биографический, а для нас сегодня — и местный, краеведческий интерес.

Первым отзвуком смоленских впечатлений и встреч Ознобишина является написанное, согласно авторскому указанию, 28 декабря 1852 года в Смоленске стихотворение «Была пора» - одно из лучших во всем позднем творчестве поэта. Проникнутое ностальгической печалью о днях молодости, об утраченных надеждах, о «музе» и любви, оно словно бы подводит итог лучшей поре жизни и творчества, предвосхищает горькое время старости и забвения.

Была пора! Мне муза молодая
Беспечною спутницей была
И, кудрями у юноши играя,
По имени так ласково звала.
Доверчиво глядел я в очи милой,
Я лепет уст смеющихся ловил;
Надеждами, восторгом сердце жило...
Была пора! — я плакал и любил...
Все унесло в полете быстром время,
Сроднился я с бессонливым трудом,
Чело браздит забот тяжелых бремя,
И кудрей шелк оделся серебром.
Подчас в груди встает невольный ропот,
О прошлых днях ревнивая тоска!..
Убил мечты неумолимый Опыт...
Готов рыдать... Нет слез у старика!

Личный, интимный подтекст этой прочувствованной элегии 48-летнего поэта составляют, судя по всему, воспоминания о безвременной кончине в 1847 году его жены Елизаветы Александровны. Женщина образованная и любящая, она действительно была, что называется, «музой» Ознобишина, вникала в его литературные заботы, давала советы, поддерживала вдохновение. Смерть ее знаменовала для него границу молодости и старости, счастливого прошлого и безрадостного настоящего, начало нового времени, иной литературной эпохи, в которой для его поэзии уже не будет места.

С другой стороны, стихотворение посвящается некоей Е. П. Забелло, всколыхнувшей в усталом сердце эту «ревнивую тоску», «невольный ропот» на ранние седины и быстротекущее время. Кто является адресатом стихотворения? Комментаторы не дают ответа. На грядущий взгляд, виновницу пережитых поэтом противоречивых чувств надо искать в семействе хорошо известного в тогдашнем Смоленске инспектора врачебной управы Франца Габелло, знакомство Ознобишина с которым весьма вероятно не только ввиду малочисленности местного интеллигентного круга, но и в связи с нездоровьем писателя, недавно именно по этому поводу совершившего вояж к заграничным целебным источникам.

В странствиях по городам и весям обширной Российской империи Ознобишин никогда не удовлетворялся впечатлениями скучающего туриста, отнюдь не праздное любопытство вело его из столиц в провинцию, из одной губернии в другую. С молодых лет он живо интересовался историей своей страны, культурой и обычаями ее народов. В свое время им было записано множество симбирских, псковских, украинских крестьянских песен, частично переданных затем в распоряжение близко ему знакомого собирателя И. В. Киреевского.

Еще значительнее достижения Ознобишина как пионера чувашской и мордовской фольклористики. В конце концов и в этой специфической области он стал заметной фигурой, занял видное место в истории изучения отечественного народного творчества. Фольклорными мотивами, народным мироощущением проникнуты некоторые из собственных его произведений. Не случайно, по-видимому, стихотворение «Чудная бандура» со временем вошло в обиход как популярная, до сих пор любимая народная песня («По Дону гуляет казак молодой»).

Не стали исключением в этом смысле и смоленские годы. Находясь в нашем городе, Ознобишин увлеченно занимается историей края, изучает достопримечательности, ищет одаренных людей из простого народа. Поэт даже входит в состав губернского статистического комитета, в котором и вокруг которого группировались в ту пору любители местной старины во главе с производителем комитетских работ Феофилактом Лукичом Никифоровым.

В 1856 году в издаваемом статистическим комитетом ежегоднике «Памятная книжка Смоленской губернии» появляется статья Ознобишина «Смоленская святыня» и включенное в нее одноименное стихотворение - о героическом прошлом города и об иконе смоленской Богоматери Одигитрии, «список» с которой незадолго до того, в связи с началом Крымской войны, был отправлен от имени смолян в Петербург в адрес наследника престола цесаревича Александра. Судя по статье, ее автор уже совсем неплохо знаком с основными событиями местной истории. Вместе с тем статья свидетельствует о росте религиозных настроений, если не мистицизма стареющего писателя, который даже неудачу англо-французского флота в Балтийском море, на подступах к Петербургу, склонен объяснять чудесным действием посланной в столицу святой смоленской реликвии.

Столь же похвальными христианско-патриотическими чувствами военной поры проникнуто стихотворение «Смоленская святыня». Созданное явно «по случаю», риторическое и выпященное, оно далеко уступает по качеству лучшим образцам лирики Ознобишина.

Есть икона чудотворная
Над Вратами у Днепра.

Риза вся на ней узорная,
Из литого серебра.

Жемчуг, яхонты огнистые
На иконе той блестят;
И, как жар, горит Пречистыя
Раззолоченный наряд.

Было время: перед битвами
Шла победная Она,
За царя, за Русь с молитвами
Верным строем несена.

Гордо встретили Могущую
Очи дерзкого врага, —
И зарыли рать бегущую
Неба чуждого снега.

На Вратах достойно чтимая,
Днесь Смоленск она хранит!
И лампада негасимая
День и ночь пред Нею горит.

День и ночь мольба усердная
Скорбных к Нею обращена,
И отраду, Милосердная,
Щедро всем дарит Она.

Другим любопытным свидетельством неравнодушного отношения Ознобишина к местной культуре является найденная в начале XX века в оренбургском архиве писателя и почему-то до сих пор не учтенная нашим краеведением небольшая рукопись «К истории города Смоленска» с подзаголовком «Автобиография И. Г. Тыртова».

Известный когда-то в городе цветовод и актер Иосиф Гаврилович Тыртов рассказывает здесь о своей жизни и о созданном им любительском театре под названием «Жители города Смоленска». Написанная, судя по всему, по инициативе Ознобишина, «Автобиография И. Г. Тыртова» представляет сегодня немалый интерес для тех, кто занимается историей Смоленска и его культуры середины прошлого века.

Не исключено, что одним из побудительных мотивов к изучению Смоленска была для Ознобишина история его собственного, весьма древнего, корнями уходящего в XIV век, дворянского рода. Поэт не мог не знать старинного семейного предания о героической борьбе его предков в «смутные времена российского государства», об их участии в обороне Москвы и Смоленска, о том, что кто-то из них «сложил свою голову на стене Смоленской, охраняя от осаждающих поляков башни оной».

По единодушному утверждению биографов поэта, одна из башен смоленской крепости долгое время после того даже именовалась «ознобишинской» — правда, местными историками и краеведческой литературой это пока не подтверждается. Однако сам факт участия Ознобишиных в обороне нашего города, несомненно, имел место. К примеру, в одном из найденных в начале XX века документов смоленского воеводского управления за 1 1610 год содержится любопытное донесение караульчиков Афанасия и Кузьмы Ознобишиных о побеге из города нескольких обывателей, в том числе священнослужителя, которые попросту спрыгнули ночью со стены на польскую сторону. Так что поэт действительно имел «личный счет» в смоленской истории и не без лирического чувства

должен был писать в своей статье о взорванном соборе, о Резницкой улице и т. п. Город вообще пришелся ему, что называется, по душе и представлялся не только заслуженным, но и очень красивым: «Дивная панорама открывается с Покровской горы путешественнику, в ясный летний день подъезжающему к городу Смоленску».

Положение и связи Ознобишина в смоленском «бомонде» и среди интеллигенции остаются неясными. Не подлежит, однако, сомнению его близость с «правительствующим семейством».

В 1859 году в очередной «Памятной книжке» именно он пишет некролог Юлии Ивановне Ахвердовой - рано, на 39-м году, скончавшейся супруге смоленского губернатора.

Кроме того, в одном из фондов областного архива нами обнаружено его письмо к самому Николаю Александровичу Ахвердову, отправленное из Петербурга 1 марта 1855 года (поэт частенько навещался в Москву и Петербург). Правда, оно мало что проясняет в отношениях между ними, поскольку имеет официальный, даже своего рода ритуальный характер («священный обряд», по определению Ознобишина): как член губернского попечительства о детях поэт выражает губернатору соболезнование в связи со смертью императора Николая и высказывает надежду на «силу, крепость и мудрость» нового царствования. Письмо содержит также упоминание о болезни, от которой «и донныне еще» страдает его отправитель, и заканчивается, как принято, заверениями в преданности Ахвердову и его «любезнейшей супруге».

Последние два десятилетия Ознобишин живет уже далеко от Смоленска, в Оренбургской губернии, в родовом имении Троицкое. Это нелегкое время. Тяжелым ударом стала для него смерть от родов в 1863 году второй жены - 24-летней Терезы Константиновны Сенявиной. Как писатель он давно остался в прошлом и нисколько не интересовал трезвое, прозаическое и бесцеремонное поколение «реалистов» и «нигилистов». Продолжало ухудшаться здоровье. Усиливались мистические настроения. Однако и в это время сохраняется какая-то, пусть формальная, связь со Смоленщиной. По крайней мере, в 1870 году престарелый поэт все еще числится членом смоленского попечительства детских приютов, в которое вошел около 15 лет тому назад, когда его возглавляла покойная Юлия Ивановна Ахвердова.

Таковы только некоторые, разрозненные свидетельства о пребывании в нашем городе известного когда-то русского поэта. Дальнейшие, в особенности архивные разыскания (прежде всего в хранилищах Москвы и Петербурга) могли бы, вероятно, существенно пополнить смоленскую страницу его биографии. Не исключено, впрочем, что какие-то относящиеся к ней документы, подобно письму к Ахвердову, находятся и в архивных фондах Смоленской области.

ТАЙНЫ БАШНИ ВЕСЕЛУХИ

I. Опоздавший и забытый

Бывают же еще в наши дни такие чудеса и странности! Роман «Башня Веселуха», которому уже более полутора сотен лет, до недавнего времени оставался нам, смолянам, совершенно неизвестен. Дотошные энтузиасты местной старины, краеведы и библиографы, зафиксировали, казалось бы, все более или менее значительные сведения и отзывы о нашем городе, а тут - целый роман в трех частях, да еще с таким «фирменным» местным названием и не менее интригующим подзаголовком: «Смоленск и жители его шестьдесят лет назад». И ведь выпущена была книга не где-нибудь, не в каком-нибудь богом забытом захолустье, а в тогдашней российской столице, в самом Санкт-Петербурге. Мало того: до выхода романа отдельной книгой некоторые его главы публиковались в известных всей России популярных журналах: «Современник», «Сын отечества», в газете «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду"». Смоленские читатели имели, таким образом, возможность познакомиться с книгой, и нет сомнения, что когда-то действительно читали ее. И не сказать, чтобы такой уж бесталанный был роман. На наш взгляд, он будет даже

получше многих любимых тогдашними читателями и типологически близких ему исторических опусов Николая Коншина или Рафаила Зотова, которые остались в истории литературы (некоторые даже в наше время переизданы).

«Башня Веселуха», кстати, тоже удостоилась когда-то лестного отзыва со стороны такого авторитетного писателя и критика, как Николай Полевой. Правда, Белинский высказался уничижительно и резко, однако и он признал за автором «складный рассказ», что в устах такого требовательного человека, как «неистовый Виссарион», было не так уж и мало.

Есть и еще одно необычное обстоятельство, которое должно было бы привлечь к роману именно смоленских любителей литературы и краеведов, возбудить в них если не исследовательский, то хотя бы следовательский, «охотничий» интерес: писатель почему-то не назвал себя и предпочел скрыться под загадочным псевдонимом «Смоленский старожил Ф. ф. Э.». Однако и эта приманка не помогла. На целых полтора века книга как сквозь землю провалилась. И это несправедливо. На наш взгляд, романа даже сегодня способен заинтересовать поклонников приключенческой литературы, особенно школьного возраста, и еще больше тех, кому небезразлична история «малой родины», кого интересуется далекое прошлое Смоленска.

Разумеется, роман «Башня Веселуха» не был событием для литературы и публики своего времени. Это произведение второго ряда, массовой беллетристики, ориентированное на популярнейшие исторические романы М. Загоскина, И. Лажечникова, а через них и на более отдаленные бестселлеры Вальтера Скотта. Ощутима также уже почти изжившая себя традиция сентиментально-мелодраматических повестей конца XVIII - начала XIX века — судя по всему именно в те, карамзинские времена формировались эстетические понятия, художественные пристрастия и стилистические навыки нашего таинственного Старожила. Примером такого рода «слезной», «жестокой» мелодрамы является вставной рассказ в десятой главе романа о «предсмертном покаянии послушника Троицкого монастыря Иоанникия». Из тех же отдаленных времен идет и весьма схематичная, черно-белая картина человеческой жизни, четкое деление порока и добродетели, положительных и отрицательных персонажей, сущность которых, к тому же, как в старые годы, подчеркивается их «говорящими» фамилиями: коварный злодей граф Змеявский, продажные чиновники — понытчик Цапкин и прокурор Хватай-ко, богатые купцы Наживкин и Кубышкин, бедный шляхтич Пустопольский, проходимцы-картежники Фирюлькин и Хлыстиков и др.

Петербургские издатели были, в общем, правы, характеризуя книгу как «старосветский роман», а ее автора — как «дарование, опоздавшее целою половиною века». В самом деле, в сороковые годы, во времена Гоголя, Герцена, Тургенева, когда почти полностью возобладала трезвая, реалистическая эстетика «натуральной школы», многое в романе «смоленского старожила» должно было казаться анахронизмом, отдавало позавчерашним днем. Похоже, именно в этом заключается причина быстрого и основательного забвения «Веселухи». Книга выпала из своего времени. Впрочем, ради справедливости надо заметить, что Старожил и не претендовал на новаторство, не гнался за модой, не покушался на идейные и психологические глубины, а не мудрствуя лукаво сочинял заведомо развлекательную, приключенческую книгу на интимно близком ему жизненном материале. Именно в рамках такого не слишком требовательного жанра и следует вершить сегодняшний суд над нею.

И все-таки «Башня Веселуха» - не просто старосветская мелодрама или авантюрный роман «на манер г-жи Радклеиф» (Белинский). Есть в ней и такие страницы, которые хотя бы отчасти связывают ее с живой и плодотворной традицией, с серьезной литературой XVIII-XIX веков. Не случайно ее герои увлечены комедиями Фонвизина. Лучшими местами «Веселухи», как правило, оказываются те, в которых с добродушным юмором выводятся колоритные провинциальные типы екатерининского времени и описываются подробности простоватого старинного быта. Таковы сцены закулисного предвыборного

торга в особняке графа Змеявского, карточных подвигов Фирюлькина и Хлыстикова, гаданий и наговоров городской «колдуньи» Ивановны или, скажем, ученые наставления немца-почмейстера о том, как свести у себя и передать другому свои бородавки. Такого рода жанровые картинки всегда были любимы в русской литературе, в том числе и писателями «натуральной школы», мастерами физиологического очерка сороковых годов.

Другой привлекательной особенностью «смоленского старожила» как прозаика является его свободная, подчас бойкая, разговорная повествовательная манера. Даже беспощадный Белинский, как сказано, признал за ним эту заслугу. Привлекателен сегодня и наивный, добродушный юмор рассказчика. Расхожие, возвышенные штампы старой литературы («Морфей покорил его своей власти» и пр.) если и идут в дело, то уже чаще всего не всерьез, а с пародийной целью, ради вящего комического эффекта. Все это в конечном итоге спасает роман от провала и даже ставит его несколько выше массовой продукции того, да и нашего, времени.

II. Краеведческий роман

Особые чувства должна вызвать «Башня Веселуха» у нынешнего смоленского читателя.

Петербургская газета «Северная пчела» когда-то назвала книгу Старожила историческим романом. В некотором смысле так оно и есть. Недаром автор указывает точную дату происходящего: зима 1783-84 годов. Правда, в романе нет никаких примечательных исторических событий, зато хорошо переданы быт, нравы и общая атмосфера провинциального города XVIII века, причем города вполне реального, конкретного — Смоленска. Поражает редкое для художественного произведения обилие исторических, этнографических, топографических примет времени и места - и при этом абсолютно достоверных, так как многие из них подтверждаются известными краеведению фактами.

О чем бы ни заговорил Старожил, сразу видно, что он пишет не понаслышке, а о хорошо знакомых ему делах, местах и лицах, что перед нами действительно «видевший многое забытое человек». Познавательная ценность «Башни Веселухи» для любителей старины прямо-таки уникальна, это настоящий клад разнообразных сведений о Смоленске екатерининского периода. В этом смысле «Веселуху» точнее будет назвать даже не историческим, а **КРАЕВЕДЧЕСКИМ РОМАНОМ** - очень редкая разновидность популярного жанра. И жаль, что разборчивые столичные редакторы, согласно их примечанию к роману, почти на одну треть сократили его объем. Со своей, эстетической, точки зрения они, конечно, были правы: обильный смоленский реквизит перегружал книгу, замедлял действие, затягивал рассказ. Однако то, что казалось «утомительным» в XIX веке петербургским ценителям изящной словесности, могло бы оказаться сегодня драгоценным для нас, пополнило бы наши представления о прошлом. Кто знает, может быть, до сих пор в каком-то петербургском архиве лежит и ждет своего часа полная рукопись смоленского краеведческого романа?

Вот лишь несколько примеров поразительной осведомленности и достоверности Старожила.

Главные события приурочены автором к первым на Смоленщине выборам в органы дворянского самоуправления, к борьбе двух претендентов за пост губернского предводителя. Причем, если один из них, граф Змеявский, — лицо, судя по всему, вымышленное, то его удачливый соперник и брат соперника, губернатор, — это, несомненно, знаменитые некогда Платон и Степан Храповицкие, которые действительно исполняли упомянутые должности в 1780-х годах. Их хорошо знала и ценила сама Екатерина II. Службу в Успенском кафедральном соборе ведет один из памятных в истории епархии архиереев — преосвященный Парфений Сопковский. Упомянуто еще около двух десятков известных в ту пору на Смоленщине дворянских фамилий. Столь же хорошо узнаваема, точна и познавательна топографическая картина стародавнего Смоленска в романе Старожила. Читая его, мы словно бы совершаем экскурсию в далекое прошлое.

Переносимся в церковь Богородицы над Днепровскими воротами - в ту пору, когда она еще была деревянной; поднимаемся к центру города по булыжникам Большой улицы (нынешняя Большая Советская), переходим по Троицкому мосту глубокий ров около Успенского собора (будет засыпан в XIX в.), ночуем в скромном обывательском домике на Козловской горе... С особым чувством и доскональным знанием дела выписана Старожилом годинская крепостная стена — того периода, когда еще было невредимо большинство ее зубцов и башен и когда престарелые, слегка подвыпившие солдаты-ветераны (инвалидная команда), расположившись на посту как у себя дома, охраняли размещенные на ней склады гарнизонной амуниции. Мы узнаем из романа о тогдашних ценах на хлеб и говядину (1 и 3 копейки), о популярных танцах и карточных играх, о том, как одевались смоленские модницы разных сословий. Чего стоят, к примеру, одни «городетуровые, вышитые золотыми цветочками платки», повязанные поверх подплаточников на каркасе из картузной бумаги! А из застольной беседы купчих Аграфены Кузьминичны и Лукерьи Тихоновны внимательный краевед вполне может извлечь кое-какие новые подробности по истории театрального дела в Смоленске.

И наконец сама легендарная, грозная, нависшая над Раневским предместьем башня Веселуха! Поначалу кажется, что уж тут- то фантазия занесла нашего земляка не в меру далеко, что здесь он все же потерял почву под ногами, оторвался от реальности. Как бы не так! Оказывается, даже эти ультраромантические страницы имеют под собою если не историческую, то по крайности легендарную, фольклорную местную основу, как есть она, например, в рассказе подьячего Цапкина о «чудесном подвиге смоленского богатыря Меркурия».

Похоже, что автор «Веселухи» сам вообще ничего не выдумывает. Дело в том, что слухи о таинственных пещерах и переходах внутри тех высоких холмов, на которых раскинулся древний город, с незапамятных времен будоражили воображение его жителей. Чаще всего они восходили к смутному времени польской войны и трехлетней осады Смоленска, когда у крепостной стены с обеих сторон действительно производились подкопы, рылись «подслухи» - и по большей части как раз с лесистой в то время, «веселухинской» стороны. Сын историка Мурзакевича Николай вспоминал, как в начале XIX века, мальчишкой, он часами обшаривал крепостные башни в надежде обнаружить потайной ход к Успенскому собору, о котором упорно толковали смоленские старики.

Авторитетные краеведы позапрошлого столетия Н. В. Трофимовский и С. П. Писарев тоже допускали существование по меньшей мере двух подземных переходов от Вознесенского монастыря: направо — к собору и вниз — к Днепру. Ходили подобные слухи и о Петропавловской церкви. А суеверный смоленский люд старого времени выдумывал еще и не такие чудеса — например сказку о заколдованной древней подземной дороге от Печерской горы аж до самого Киева.

Такого рода изустные предания, исторические рассказы и рожденная ими романтическая аура древнего города вдохновляли, по- видимому, Смоленского Старожила, когда он задумывал и сочинял свой «краеведческий роман», свою «Башню Веселуху».

III. Следствие по «делу Ф. Ф. Э.»

Роман «Башня Веселуха» полон таинственных событий и персонажей, и все же главная его загадка — он сам: его происхождение, личность автора, странное незнание романа краеведами на протяжении полутора веков. Так кто же это в конце концов так долго играет с нами в прятки и почему он этим занимается? «Смоленский Старожил Ф. ф. Э.» — так обозначил себя писатель.

Должен сказать, подобные псевдонимы — отнюдь не редкость в литературе николаевского времени. Каких только «старожилов» не было в тогдашних журналах! В одном лишь петербургском «Маяке» 1840-х годов мне встретились и просто «Старожил», и «старожиловы» коломенский, пельимский, ораниенбаумский... Правда, ничего такого сугубо пельимского или коломенского при ближайшем знакомстве в их стихах или прозе, как

правило, не просматривалось — формальный геоним, не более того. Иное дело — роман нашего «Смоленского Старожила»: и название романа, и все его содержание, как мы видели, полностью соответствует псевдониму. Настолько соответствует, что в конце концов даже позволяют нам разгадать главный секрет, т. е. установить личность автора, выяснить, кто же он такой и откуда у него такая редкая осведомленность по части смоленских реликвий XVIII века.

Биографическая связь таинственного Ф. ф. Э. с нашим городом видна невооруженным глазом и вряд ли требует доказательства, тем более что есть и прямое признание этого факта: «Взрастившему и взлелеевшему меня моему городу Смоленску и праху почтенных родителей моих, там покоящихся», — гласит авторское посвящение.

Итак — смолянин, если не по месту жительства, то по происхождению. Но кто именно? Человека с подобными инициалами до сих пор как будто бы не встречалось в обзорах истории и культуры нашего края. Не выдают секрета и те журналы, в которых время от времени печатались когда-то отрывки из романа. «Доставлено из Смоленска неизвестною особою, — комментировал свою публикацию «Современник» в 1839 году. - Издатель узнал только, что автору шестьдесят лет и что это первый опыт его таланта».

Впрочем, первая часть атрибуции: раскрытие криптонима, т. е. инициалов писателя, оказывается делом несложным. Для подобных нужд энтузиасты отечественной словесности, выдающиеся наши библиографы, давно составили прекрасные, подробные справочники. И в самом деле, уже через год после выхода романа в известном «Реестре русским книгам» М. Д. Ольхина (СПб., 1846) криптоним Смоленского Старожила был расшифрован как «Федор Андреевич Эттингер». А еще около тридцати лет спустя другой знаменитый библиограф, Г. Н. Геннади, в своем «Списке русских анонимных книг» (СПб., 1874) сделал маленькое, но существенное уточнение — «фон Эттингер», чем окончательно прояснил для нас литеры псевдонима, формальное значение загадки «Ф. ф. Э.».

Фон Эттингеры — достаточно известный в российской истории дворянский род прибалтийского (лифляндского) происхождения. В разное время из него выходили не только служилые, чиновные люди, но и гуманитарии: историк искусства, литературовед... Был и писатель — Осип Григорьевич Эттингер, живший на исходе XIX в. и печатавшийся под псевдонимом «Сергей Сутугин». Однако на роль автора «Веселухи» он явно не подходит. Ни о каком же Федоре Эттингере ни биографические справочники, ни родословные дворянские книги не упоминают. Похоже, что наше «следствие» зашло в тупик — надо искать другие подходы.

Прибалтийское происхождение Эттингеров совсем не исключает, что какая-то ветвь их рода могла оказаться на Смоленщине и войти в состав так называемой «смоленской шляхты». Пути господни и дороги царской службы, как известно, неисповедимы. Однако обзоры местной истории и доступные нам сегодня списки здешних родов тоже не дают ни малейшей зацепки. В конце концов мы подошли в «следственном деле Ф. ф. Э.» к такому рубежу, когда или опускаешь руки, или решаешься - без всякой гарантии на успех — начинать кропотливую работу по просмотру первичных материалов и документов, относящихся к тому времени, когда должен был жить посетивший в 1839 году редакцию «Современника» 60-летний сочинитель.

К счастью, в нашем случае время оказалось потраченным не зря и некоторые следы пребывания Эттингеров в Смоленске вскоре были обнаружены.

Зимой 1787 года императрица Екатерина II предприняла длительное путешествие по европейской России. Побывала она тогда и в нашем городе. Как было принято в таких случаях, сразу же по окончании административного вояжа выпускается из печати «Журнал высочайшего путешествия ее Величества...» (СПб, 1787), т. е. книга подробных подневных записей всего, что происходило по пути следования царицы, - с перечислением всех участвовавших в торжественных актах чинов губернской, городской и дворянской администраций. Читаем раздел о Смоленске - и что же? Двенадцатого января 1787 года при въезде Екатерины в город наряду с другими должностными лицами во главе гарнизонных

солдат и офицеров ее встречал у Днепровских ворот и некий генерал-майор фон Эттингер - обер-комендант Смоленской крепости. Ищем свидетельство об этом же событии в известном «Дневнике» смоленского историка, отца Никифора Мурзакевича - и снова удача! И здесь комендант фон Эттингер приветствует матушку-царицу «во главе гарнизонного батальона, артиллерийской и инженерной команды».

Внимательный читатель «Башни Веселухи», прочитав эти строчки, не может не насторожиться. Комендант фон Эттингер... генерал-майор... Что-то как будто знакомое... Похоже, мы уже где-то слышали об этом человеке... Ба! Да ведь это же один из персонажей нашего романа, только там его фамилия обозначена одной заглавной буквой. Но звание и должность - те же самые! «Оберкомендантом в Смоленске был тогда генерал-майор Андрей Иванович фон Э.», - сказано у Старожила. И те же, что в романе, екатерининские, восьмидесятые годы! Начинаем присматриваться к Андрею Ивановичу внимательнее и видим, что «почтенному и доброму генералу» и его семейству в книге вообще отведено непомерно много места, без всякой к тому сюжетной необходимости, даже в ущерб художественной соразмерности и цельности действия. Семейство коменданта - прямо-таки некий флюс романа Старожила.

Нам сообщают зачем-то разные, не идущие к делу подробности служебной и домашней жизни Андрея Ивановича. Он, оказывается, совмещает свою основную должность с обязанностями полицеймейстера и получает в год 750 рублей жалованья. Генерал сравнительно недавно прибыл в Смоленск из Риги. Вероятно, поэтому у него нет в городе собственного дома и семейство размещается в «казенной квартире со всеми принадлежностями у Облонья». Правда, в двух верстах от города Андрей Иванович завел не то чтобы поместье, а так, скорее дачное подворье, где его достойная супруга, приятная во всех отношениях дама лет пятидесяти, держит скот, птицу, сад, парники, выращивает в цветнике розы, жонкилы, лилии, нарциссы, гвоздики... Старожил не в состоянии скрыть симпатию к престарелой супружеской паре. Комендантский «дом у Облонья» рисует он в самых розовых тонах, каким-то островком культуры и здравого смысла в момент, когда весь Смоленск переживает приступ суеверного страха и сходит с ума из-за веселухинской чертовщины.

Как можно объяснить откровенное пристрастие писателя к семейству коменданта, и есть ли связь между двумя выявленными нами Эттингерами — автором и героем романа?

Разумеется, почтенный екатерининский генерал никоим образом не мог быть тем таинственным шестидесятилетним визитером, который в 1839 году принес свою рукопись в редакцию «Современника»: к этому времени он давно бы уже перешел столетний рубеж. Все ведет нас к заключению, что человеком с рукописью был не кто иной, как сын Андрея Ивановича Эттинге-ра — тот самый восьмилетний мальчик Фриц (по-русски будет Федор), который тоже фигурирует на страницах собственного романа: то в обычном костюмчике, то в сшитом на него мундирчике сержанта, строит там из песка прямо в комнате военную крепость и жадно слушает донесения плац-майора и разговоры старших о полуночных проделках нечистой силы на Веселухе. Все в книге Старожила сразу же становится на свое место, получает убедительное объяснение.

Понятна становится привязанность к «дому у Облонья» - в нем прошло детство рассказчика, умиление перед живущей в нем супружеской парой — как никак это покойные отец и мать, обилие в романе персонажей из воинского сословия — ведь это все памятные с ранних лет люди отцовского, комендантского круга. Подтверждается шестидесятилетний возраст на исходе 1830-х годов. Совпадают имя и отчество автора и его маленького героя. «Башня Веселуха» явно строится на детских впечатлениях и старикивских воспоминаниях даровитого сына смоленского оберкоменданта Эттингера.

Любопытная, между прочим, получилась игра между автором и читателями! Мы бьемся над «загадкой Ф. ф. Э.», копаемся в разных справочниках — и не подозреваем, что уже знакомы со Старожилом, что ключ к главной тайне «Башни Веселухи» — у нас в руках,

т. е. в ней самой, в книге, которую читаем. Словно и нам, читателям, отводят глаза и забавляются с нами веселухинские черты.

Что побудило Федора Этингера спрятаться под псевдонимом? Думается, главной причиной его «скромности» был тот самый автобиографический, чересчур личный, мемуарный, чересчур «смоленский» характер книги, о котором мы говорили, узнаваемость действующих лиц для кое-кого из первых ее читателей. Литературная маска должна была увеличить так называемую эпическую дистанцию, а может быть, и оградить писателя от возможных претензий, от осложнений.

К сожалению, в нашем распоряжении очень мало пока других, дополнительных сведений о Ф. А. Этингере. Его взрослая жизнь, судя по всему, проходила в Петербурге. По крайней мере, там в 1820-е годы вышло в его переводах более 20 изданий популярного в тогдашней России немецкого прозаика и драматурга Августа Коцебу (читатели «Веселухи» помнят, что в доме смоленского коменданта предпочитали говорить на немецком языке, так что писатель знал его с детства). Не исключено, между прочим, что привязанность к Коцебу зародилась у Этингера еще в смоленские годы, так как в начале XIX века в нашем городе его издавали чаще, чем где бы то ни было в России. Кроме того, сентиментально-романтические повести Коцебу вполне могли послужить одним из образцов при работе над «Башней Веселухой».

Помимо романа и переводов Ф. А. Этингер — особенно в последние свои годы — занимался историческими разысканиями из ностальгически любимой им эпохи Екатерины II, даже опубликовал несколько статей по этой тематике — правда, не слишком интересных. Зато при работе над «смоленским романом» знание екатерининского века оказалось как нельзя более кстати, помогло передать атмосферу и нарисовать ряд убедительных картин и человеческих типов.

Вряд ли Федор Этингер вернулся на старости лет в свой родной город. Правда, редакция «Современника» утверждала, что рукопись была привезена в журнал из Смоленска, однако это вполне могло быть одним из пунктов затеянной автором романа игры в «Старожидла», ради все той же конспирации, того же инкогнито. Ведь в посвящении слово «Смоленск» употреблено с наречием «там», а не «здесь». Так не говорят о городе, в котором живут, где находятся в данный момент. Похоже, в Смоленске у старого писателя уже не осталось ничего, кроме родительских могил.

Умер «почтенный старец и трудолюбивый литератор, коллежский советник» Федор Андреевич Этингер, согласно лаконическому некрологу петербургской «Северной Пчелы», Запрела 1853 года. Временем же его появления на свет, если принять во внимание восьмилетний возраст мальчика из романа, время действия романа и замечание «Современника» о шестидесятилетием авторе, следует признать 1777 или 1778 год.

Таковы главные итоги нашего «следствия по делу Ф. ф. Э.», таков недавно вернувшийся к нам роман о стародавнем Смоленске. Время меняет акценты и угол зрения. Отходит на задний план наивная приключенческая интрига, зато все интереснее становится для нас историческая, краеведческая подоплека, фактура книги. «Башня Веселуха» в наши дни - ценное пособие для изучения Смоленска XVIII столетия.

КРЕПОСТНОЙ ТЕАТР Н. Г. ЦЕВЛОВСКОГО

Театр - это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра.

Н. В. Гоголь

Крепостные помещичьи театры, оркестры, хоровые и балетные группы - неотъемлемая и очень специфическая разновидность русского искусства ХУП-ХIХ веков. Их роль неоднозначна, противоречива, даже, пожалуй, двусмысленна. Содействуя распространению культуры в дворянском сословии и проявлению народных талантов, они в то же время, как правило, ограничивались облегченным, развлекательным репертуаром, а для пробудившихся к духовной жизни, к творчеству «белых рабов» их подневольное

положение становилось еще мучительнее. Образ крепостного интеллигента — едва ли не самый горестный в нашей классической литературе.

Зародившись на исходе ХУП столетия, крепостной театр становится привычным явлением барской жизни во времена Екатерины II и достигает расцвета в начальное, относительно либеральное десятилетие царствования Александра I. 173 частных театральные заведения выявили исследователи в России XVIII века. Правда, большая их часть (93) приходилась на Москву и Петербург с окрестностями, однако и провинция могла гордиться хотя бы несколькими на губернию хорошо поставленными труппами. Их организация была самой разнообразной. В то время как знаменитые «вельможные» театры имели специально выстроенные здания и располагали пышным убранством, другие — ограничивались домашними подмостками и реквизитом из подручных средств. Если, скажем, московская труппа графов Шереметевых в лучшие свои времена доходила до сотни штатных исполнителей, то большинство провинциальных усадебных поклонников Мельпомены, Талии и Терпсихоры не могли позволить себе и трех десятков не занятых в хозяйстве «песельников» и «комедиантов». Но как бы там ни было, к началу XIX века для столичной и поместной знати держать собственный театр или «музыку» стало делом гордости, престижа и особого сословного шика.

Не составляла в этом смысле исключения и Смоленская губерния. Согласно данным Т. А. Дынник, здесь в начале позапрошлого столетия действовало по меньшей мере три крепостных театра: у дворян Бровцыных в имении Каменец, у Повало-Швейковских в Засижье и у Глинок в Шмакове. Д. И. Будаев дополняет список труппами Барышникова, Шереметева и оркестром вяземского помещика Лысогорского. Известно, что крепостные актеры и певцы были в то время также у владельца Хмелиты А. Ф. Грибоедова, дяди великого поэта. В этом ряду должен быть упомянут и другой богатый вяземский барин — А. Б. Лыкошин, в благоустроенном имении которого (Крюково), помимо огромных садов и оранжерей, привлекало внимание и большое театральное здание — вряд ли оно всегда пустовало. А неподалеку от Крюкова, в Казулине того же уезда, хороший крепостной оркестр держал его брат И. Б. Лыкошин. К сожалению, в связи с гибелью губернского и многих семейных архивов в войне 1812 года наши сведения о крепостном искусстве Смоленщины остаются случайными и, следовательно, очень неполными. На самом деле оно, несомненно, было много богаче.

«Разоренный» 1812 год подорвал благосостояние значительной части русского дворянства и тем самым положил начало общему кризису усадебного театра. В Смоленской губернии последствия войны были особенно катастрофическими. Даже для богатых, «великодушных» землевладельцев, не говоря уж о помещиках средней руки, содержание профессиональных актеров, певцов, музыкантов становится делом все более и более обременительным. Начинается распад крепостных коллективов. При этом самых талантливых артистов стараются продать в другие театры — государственные или вольные, молодых отдают в солдаты, а кое-кого и вообще сажают на землю, возвращают в тягловое, крестьянское состояние. Примерно такова была, например, судьба упомянутой казулинской труппы: молодым забрали лбы, а лучших своих музыкантов казулинский барин обменял на пашенных крестьян С. А. Якушкина, который, в свою очередь, продал их в знаменитую орловскую труппу графа С. М. Каменского. Так наши земляки оказались в театре, великолепные спектакли и жестокие порядки которого увековечены в классических произведениях русской литературы: «Сороке-воровке» А. И. Герцена и «Тупейном художнике» Н. С. Лескова.

В 1820-30-е годы намечается новая тенденция в поместном! музыкально-драматическом деле: перевод сохранившихся крепостных трупп на коммерческую основу с целью сделать их если не доходными, то хотя бы не слишком убыточными статьями помещичьего хозяйства — по образцу входившей в российский театральный обиход антрепризы. Представления делаются общедоступными и платными, артистов сдают в аренду или напрокат для обслуживания балов, праздников, торжественных актов и т. п.

Вскоре в провинции уже почти не остается крепостных театров старого типа, рассчитанных на избранных посетителей, на приглашенных гостей.

Появились такого рода коммерческие крепостные или полукрепостные коллективы и в нашей губернии. Так, в 1827-28 годах в Смоленске и Вязме с весьма приличным репертуаром (по пьесам Яковлева, Княжнина, Коцебу и др.) гастролировала труппа помещика Лопухина и статской советницы Безобразовой, руководимая дворовым человеком советницы Петром Молчановым. Вяземский помещик, отставной поручик П. П. Тихонов на контрактной основе «доставляет музыку к бывшему в городе Смоленске театру». В 1830-40-е годы на Смоленщине хорошо известны были музыканты Краевского и певчие Шупинского. Именно их ангажировали у владельцев в 1840 году для обслуживания бала, прошедшего в Дворянском собрании по случаю посещения Смоленска цесаревичем Александром.

Однако и коммерциализация не в силах была остановить упадок крепостного искусства. В николаевской России даже вольные, странствующие комедианты, колесившие по всей обширной империи, едва сводили концы с концами. То один, то другой театр заканчивал свою историю финансовым крахом, распродажей убогого имущества, а то и бегством незадачливого антрепренера. В 1844-45 годах упомянутый помещик Тихонов так и не сумел обнаружить скрывшегося в Москве директора театра Ляховича, чтобы взыскать с него 380 рублей 50 копеек за предоставленную «музыку». Крепостной же театр с его изначально порочной, не стимулирующей творчество, принудительной основой еще менее был способен выдерживать конкуренцию и бороться за зрителя.

Впрочем, дело было не только в кассовых трудностях. В обстоятельствах непомерно жесткого николаевского идеологического и цензурного террора всякое частное, самодеятельное начинание рассматривалось бдительными властями как вещь подозрительная и нежелательная. Каждый спектакль, даже содержание невинных афишек подлежали придирчивому предварительному досмотру. Те же вяземские гастроли труппы Лопухина и Безобразовой в 1828 году смогли начаться лишь после длительной — ио инстанциям — переписки между городничим, губернатором и Третьим, жандармским, отделением, т. е. между Вязмой, Смоленском и Петербургом, хотя в минувшем сезоне труппа уже выступала с тем же самым репертуаром в Смоленске. Надо полагать, что в течение этих нескольких месяцев у театра не было никаких сборов.

Именно в таких условиях, в такое во всех отношениях неблагоприятное время небогатый дворянин Поречского уезда Смоленской губернии Н. Г. Цевловский создает свой небольшой домашний театр, одинаково не похожий как на привычное барское развлечение, так и на вольную коммерческую антрепризу. Увлеченный рассказ о нем содержится в воспоминаниях дочери Цевловского, известной в свое время детской писательницы и педагога Е. Н. Водовозовой. Несмотря на общедоступность этих воспоминаний, они до сих пор почему-то не учитывались в работах по истории театрального дела. Между тем крепостной театр Цевловского — единственный на Смоленщине, о котором остались более или менее подробные сведения. Рассмотренный в связи с теми общественно-политическими и театральными процессами, о которых только что было сказано, он предстает — даже в общероссийском контексте — как явление замечательное и неординарное.

При знакомстве с поречским театром прежде всего останавливает внимание личность его организатора и владельца Николая Григорьевича Цевловского (1790—1848). Человек более чем незаурядный, он резко выделялся среди местных помещиков и знаниями, и культурой, и манерами, и разговором. «Редким исключением» называет Водовозова своего отца. Впрочем, как «исключение» Цевловский воспринимался разве что на склоне его дней, в тридцатые—сороковые годы, когда казарменные николаевские порядки и охранительная уваровская идеология («самодержавие, православие, народность») заметно понизили духовный уровень провинциального дворянства и в нем стал преобладать тип верноподданного, но не слишком грамотного ура-патриота. Цевловский же по всем

признакам принадлежал к другому хорошо известному в нашей истории дворянскому типу — к блестящему и гордому поколению русской молодежи 1812 года, либеральному ее крылу, к тем, кого именуют иногда «декабристами без декабря». От непосредственного участия в движении его, судя по всему, уберегло лишь длительное пребывание за границей и в Польше.

Духовное развитие Цевловского с самого начала складывалось по типично декабристскому сюжету. Родившись в семье смоленских дворян западнической ориентации (его мать была истой католичкой и предпочитала говорить по-польски), Николай Григорьевич с помощью гувернеров-иностранцев получает прекрасное первоначальное образование и знание нескольких европейских языков. Благополучная жизнь в родительском доме оказалась, однако, очень недолгой. Уже к четырнадцати годам он остается без родителей и, как сирота, определяется юнкером в Петербургский уланский полк, где через несколько лет становится офицером. Дальнейшая судьба молодого человека самым тесным образом связана с теми войнами, которые вела Россия в начале позапрошлого столетия. Пятнадцатилетним мальчиком он участвует в битве под Аустерлицем, а затем и во всех других основных событиях первой войны с Наполеоном. В 1809—11 годах мы видим его уже в Молдавии, на русско-турецкой войне. В 1812 году полк Цевловского преследует отступающих французов. Окончание войны застаёт нашего земляка в Париже. Побывал он в те годы и в других европейских городах и странах, а позднее около двух лет прослужил в Варшаве, где был принят в образованных кругах польской столицы и свел знакомство с людьми искусства, писателями и художниками.

Отечественная война 1812 года и заграничные походы стали решающим фактором политического развития Цевловского. Они расширили его кругозор, раскрепостили сознание, побудили к размышлениям о плачевном внутреннем состоянии России. Именно в эту пору он проникается «лучшими идеалами своего времени», под каковыми его дочь подразумевает «идеи французских энциклопедистов XVIII века». Отныне любимыми писателями молодого офицера становятся скептический Вольтер, чувствительный Руссо, пылкий Мицкевич, которых он, разумеется, читает в оригинале, а из отечественных — Пушкин и Грибоедов. И опять-таки это был чисто декабристский выбор, продиктованный свойственным Николаю Григорьевичу «живым интересом к общественным и политическим вопросам». Впоследствии, разбирая бумаги покойного отца, Водовозова поразится тому, что уже в те далекие времена он сознавал не менее отчетливо, чем она, шестидесятница, «весь вред предрассудков, господствующих в русском обществе».

В 1828 году Цевловский выходит в отставку и приезжает на постоянное жительство в свое смоленское имение Погорелое, расположенное в поречской глуши, в семидесяти верстах от уездного города. Начиналось новое царствование, ознаменованное виселицей и ссылками, и люди типа Цевловского чувствовали себя все более неуютно, не ко двору на государственной службе. Так этот европейски образованный, современно мыслящий блестящий офицер оказывается в самой гуще темного уездного барства, один на один с местными Скотиниными и Простаковыми, образчики которых так наглядно запечатлены в мемуарах его дочери. Он приходит в ужас от «нравственного и умственного убожества» поречского поместного круга, интересы которого ограничены конюшней, псарней и голубятней, а развлечения — картами, попойками до охоты. Многие в здешнем кондовом быту вызывает чувство настоящего омерзения: «Вокруг только и слышишь, — возмущается Цевловский, — как Никифор Сидорович подкузьмил своего приятеля при продаже ему коня, либо как помещик именитого рода... растлевает своих крепостных девок, либо как некий почтенный муж, отец многочисленного семейства, дабы оттягать поемный лужок, во всех присутственных местах позорит родную сестру, возводя одну клевету срамнее другой». Новый помещик никак не вписывается в такого разбора «благородное общество» и даже среди собственных родственников выглядит какой-то белой вороной. В конце концов, Николай Григорьевич с молодой женой переселяется в Поречье, в специально купленный для этого большой деревянный дом.

Вопреки ожиданиям, городская жизнь (по крайней мере, на первых порах) мало что изменила в «исключительном положении» Цевловского, в его отношениях с помещичьей и чиновничьей массой. Потому что чем дальше, тем больше у этого конфликта обнаруживается подоплека более глубинная и принципиальная, чем особенности воспитания и разница духовных запросов.

Важнейшая декабристская черта Цевловского - неприятие им крепостного права, несогласие с феодальными отечественными порядками. «Наши помещики глубоко убеждены, - негодовал он, - что только они одни люди, а крестьяне — скоты, что с ними как со скотами и поступать надо». С отвращением слушает он рассказы о подвигах поречских «секаторов» и кнутобойцев и старается по возможности не поддерживать отношений с людьми подобного типа. Как и следовало ожидать, вскоре по уезду поползли слухи о неблагонадежном направлении ума отставного майора, появляются жалобы и доносы. Почему-то особое раздражение поречских крепостников вызывало нежелание Цевловского, вопреки старинному обычаю, вершить насильственные, по приказу барина, крестьянские браки. Да и вообще, по мнению благонамеренных осведомителей, всем своим поведением, образом жизни гордец Цевловский распространяет вокруг себя «соблазн», «подкапывает устои» и «возмущает крестьян против помещичьей власти». Дело вполне могло принять самый серьезный оборот - Водозова считает, что ее отца спасли только приятельские отношения с предводителем дворянства да известная властям старая армейская дружба с неким влиятельным в петербургских высоких сферах князем Г. (предположительно, Н. Б. Голицыным), хотя тот и проживал далеко от Поречья, даже, может быть, в другой губернии.

Как видим, весьма нелегко и очень непросто складывалась поречская жизнь Николая Григорьевича Цевловского. Тем не менее он оставался верен себе, не менял убеждений и принципов. Находясь при смерти, в качестве последнего своего завета он закликает жену, чего бы ей это ни стоило, пусть даже ценою последнего имущества, дать их детям настоящее образование и, во-вторых, «быть милостивой к крестьянам, не унижать своего человеческого достоинства до экзекуций и жестоких расправ с ними, никому не позволять обижать их, — пусть среди них из-за нее не раздаются стоны и проклятия».

Наш знаменитый историк В. О. Ключевский считал столкновение просвещенного, либерального меньшинства со средневековыми отечественными порядками и косным бытом характернейшей коллизией новой российской истории, ее послепетровского периода. В положении и судьбе первых наших интеллигентов, русских европейцев он находил «много трагизма».

Особо печальную в этом смысле репутацию имеет тридцатилетнее царствование Николая I, когда, после ликвидации декабристской оппозиции и учреждения специального жандармского ведомства для борьбы с вольнодумством, у мыслящего россиянина не осталось практически никакого поприща для свободного приложения сил и талантов, тем более для гражданского протеста, и он с горечью ощутил себя в собственном своем отечестве каким-то подозрительным, никому не нужным отщепенцем. «Печальный рок лишнего, потерянного человека только потому, что он развился в ЧЕЛОВЕКА, являлся тогда не только в поэмах и романах, но на улицах и в гостиных, в деревнях и городах», - вспоминал Александр Герцен, сам тяжело переживший глухую тоску и безысходность николаевского безвременья. Именно этот «печальный рок» довлел над нашим земляком Н. Г. Цевловским в его поречской глуши. Однако есть в жизни и личности Цевловского и нечто такое, что самым существенным образом отличает его от обычного для той поры печоринско-рудинского типа.

Большинство так называемых «лишних людей», оказавшись в тупике и болезненно переживая свою невостребованность, обидчиво замыкалось в себе, вело бесцельную и бездельную жизнь, опускалось и в конце концов «уходило — кто в могилу, кто в чужие края, кто в вино» (Герцен). В противоположность этим своим реальным и литературным собратьям Цевловский находит в себе силы для сопротивления «печальному року», соблазну отчаяния и скептицизма. В своем богом забытом Поречье он не только сохраняет

человеческое достоинство, но и делает все, чтобы приобщить своих земляков — прежде всего молодое поколение дворян - к дорогим для него духовным ценностям, к современным идеалам и понятиям. По свидетельству дочери, им «всецело владела» мысль о распространении образования и культуры. В то время как литературные запросы большинства его соседей не шли дальше календаря и сонника и других книг в их имениях было с фонарем не сыскать, Николай Григорьевич собирает прекрасную библиотеку из лучших русских, французских, польских книг, и они отнюдь не лежат у него мертвым грузом. В общении с Цевловским, в его книгах молодым поречанам, как призналась одна из его родственниц, «открывался новый мир». Именно такими, просветительскими целями вдохновлялся он и при устройстве собственного театра.

Приобщение Цевловского к театру произошло, по-видимому, еще в ранней молодости, при начале армейской карьеры, в Петербурге. В дальнейшем он имел возможность познакомиться со сценическим искусством Европы, причем самое сильное впечатление произвел на него варшавский театр, который, по его мнению, был в ту пору «обставлен и поставлен лучше, чем русский столичный театр». Цевловский приходит к выводу о громадном образовательном значении искусства сцены. «Он всегда проводил мысль, что из всех просветительских влияний наибольшее имеет театр, как первейшее средство для воспитания в молодежи благородных чувств» (Водовозова).

О серьезном подходе к делу, просветительской «сверхзадаче» Цевловского-театрала свидетельствует прежде всего репертуар его пореческой труппы.

1820-40-е годы в истории русской сцены отмечены, как известно, полновластным господством самого безобидного, безопасного и легкомысленного жанра — водевиля. В 1845 году Гоголь с возмущением писал о «наводнении пустых и легких пьес», о засилье «всяких балетных скаканий, водевилей, мелодрам и мишурно-великолепного зрелища для глаза». Точно такой же была ситуация и в Смоленске, где заезжие лицедеи и доморощенные «благородные» актеры-любители развлекали публику в лучшем случае юморесками Ленского, Иванова, Шаховского, Кони, Хмельницкого и др. В таких обстоятельствах маленький театр Цевловского, подобно своему владельцу, выглядит как «редкое исключение», как явление почти беспрецедентное для николаевского времени, тем более для крепостных подмолок. Его репертуарная основа - самая добротная отечественная и зарубежная классика. «Многие помещики нашего уезда впервые из представлений нашего театра познакомились с произведениями русских писателей, даже с комедией «Горе от ума», — вспоминает Водовозова. Играли I в Поречье и знаменитые комедии Фонвизина. Идеология и качество пьесы были, по-видимому, первой заботой Цевловского. При необходимости он сам садился за письменный стол и переводил I для труппы полубившиеся произведения французских и польских драматургов — вплоть до классических комедий Мольера. Ни самих переводов, ни списка их не сохранилось, однако судя по тому, что участвовавшая в спектаклях старшая дочь Николая Григорьевича знала наизусть целые страницы из «Тартюфа», по крайней мере эта знаменитая пьеса входила в репертуар пореческого театра.

Выбор «Тартюфа», главным героем которого является святоша в сутане, легко объясняется вольтерьянским вольнодумством Цевловского и его напряженными отношениями с церковью (еще один источник его житейских осложнений). Последователь энциклопедистов, противник всякой мистики, он был убежденным атеистом, хотя, как человек терпимый и деликатный, никогда не позволял себе оскорблять чувства верующих. Просто не ходил в церковь! Если в доме по какому-нибудь случаю совершали молебен, хозяина, как правило, дома не оказывалось. Детей своих Николай Григорьевич учил всему, кроме закона Божьего (эту неизбежную по тем временам миссию взяла на себя его супруга Александра Степановна). И даже в последний свой, смертный час (а умирал Цевловский в полном осознании происходящего), сославшись на «недостаток времени», он отказывается от услуг пришедшего священника. Как бы мы ни относились сегодня к его атеистическим

взглядам, нельзя не признать, что это был человек щепетильно честный, последовательный, верный себе всегда и во всем.

Главной театральной заслугой Цевловского является, конечно же, постановка комедии «Горе от ума». Для сороковых годов прошлого века дело это было не только сложным, но и достаточно рискованным, поскольку пьеса Грибоедова, совсем недавно разрешенная для петербургской и московской сцены, вплоть до 1863 года оставалась запретной для сцены провинциальной. Редкие постановки осуществлялись в обход цензуры и только в самых крупных провинциальных городах: Киев, Казань, Харьков, Одесса, Тамбов, Курск, Астрахань. У российских властей комедия имела стойкую репутацию крамольного произведения, всем своим духом напоминающего о либеральной «заразе» александровского времени. Даже простая ее переписка и распространение расценивались как занятие предосудительное.

Причина приверженности Цевловского к шедевру Грибоедова также лежит на поверхности. Он и сам, по сути дела, находился в ситуации Чацкого, постоянно сталкивался с местными Молчалиными и Скалозубами. Его филиппики против поречских обывателей совершенно созвучны гневным и горьким монологам грибоедовского героя. Спектакль по комедии «Горе от ума» - это еще один выпад Цевловского, еще одно свидетельство осознанно просветительского, оппозиционного характера его театральной деятельности.

И еще одно. Спектакль Цевловского, насколько нам известно, является первой на Смоленщине театральной версией «Горя от ума». Не исключено также, что это вообще была первая постановка комедии Грибоедова на уездной сцене и на подмостках русского крепостного театра.

Поречский крепостной театр Н. Г. Цевловского возник около 1840 года и просуществовал, судя по всему, до кончины его владельца в 1848 году.

Какова была его организация?

Старинные крепостные «оперные дома» славились великолепием обстановки, их хозяева ревниво соперничали друг с другом по части богатых костюмов и декораций. Ничего подобного в Поречье не было и быть не могло. Ограниченные средства не позволяли Цевловскому поставить дело на широкую ногу, да он и не стремился ко внешним эффектам. Музыкальные, танцевальные и драматические вечера Цевловских проходили в том самом большом деревянном доме, где проживало их многочисленное семейство. Более чем скромным было оформление спектаклей: юбочки из кисеи, короны из золоченой бумаги, деревянные шпаги и т. п. Немудреный этот реквизит изготавливался тут же, руками слуг, дочерей и самих артистов. Труппа состояла из одиннадцати крепостных людей, шестеро из которых были чистыми актерами, а пятеро еще и музыкантами. При необходимости к ним подключали и кое-кого из дворян - например, горничную Милодору, отличавшуюся врожденными изяществом и тактом. Самое необычное состояло в том, что, наряду с крепостными людьми, на сцену нередко выходили и дочери Цевловского - «благородные актрисы», как тогда говорили. Такое общение и сотрудничество крепостного человека и дворянина, барышни и ее горничной было по тогдашним временам делом почти неслыханным, неприличным и встречается в истории русского театра крайне редко (как на исключение ссылаются обычно на спектакли орловского помещика А. А. Плещеева). И само собою разумеется, у Цевловского не было всяких там «зуботычин и оплеух», без которых, как считалось, не обходилась ни одна барская затея такого рода. По словам Водозовой, ее отец никогда не унижал человеческое достоинство своих артистов - наоборот, всячески старался пробудить их мысль и творчество, обнаружить и развить способности. «Отец находил, - вспоминает Водозова, - что нет большего преступления, как зарыть в землю талант, не постараться развить его». Например, та же горничная Милодора, будучи приобщена к театру, через некоторое время уже понимала по-французски и с увлечением читала Пушкина и Лермонтова. Еще более яркий пример заботливого внимания Цевловского к дарованиям его крепостных людей - история его

главного театрального помощника и руководителя домашнего оркестра, бывшего крестьянина Василия.

Паренек по прозвищу «Васька-музыкант», без которого не обходилась ни одна окрестная свадьба или вечеринка, заинтересовал меломана Цевловского необычной легкостью, с какой тот овладевал всеми доступными ему инструментами: гармоникой, скрипкой, балалайкой, всякими там деревенскими дудочками и свистульками. В конце концов барин подарил ему настоящую, дорогую скрипку. Каково же было его удивление, когда Васька - музыкант тут же, на месте сыграл ему на ней не что-нибудь, а ноктюрн Шопена! Как выяснилось, около года тому назад, стоя под окнами барского дома, он слышал эту «песню» в чем-то фортепьянном исполнении, а потом тщетно старался воспроизвести ее на своей простенькой, деревенской скрипке. И вот теперь, на настоящем инструменте это у него, наконец, получилось.

Цевловский понял, что столкнулся с необычным явлением. Списавшись с упоминавшимся уже князем Г., который держал большой оркестр и слыл тонким знатоком музыкального искусства, он отправил к нему поречского самородка для оценки и совершенствования способностей. Мнение князя, его жены - пианистки с европейским именем и учителей-иностранцев было единодушным: Васька-музыкант обладает феноменальными способностями. За два с половиною года своего пребывания у князя он не только научился читать, писать и основам нотной грамоты, но и освоил сложнейшие музыкальные пьесы из репертуара княгини. Иначе говоря, стал в полном смысле музыкантом, музыкантом-профессионалом.

Озаботившись организацией собственного театра, Цевловский возвращает Василия в Поречье, и тот становится здесь его главным помощником, опорой и надеждою в новом деле: он и актер, и суфлер, и руководитель маленького оркестра. Деревня, дворня и господа по старой привычке все еще зовут его Васькой-музыкантом, однако он уже мало чем напоминает прежнего деревенского парня. Из-за этого крестьяне начинают недолюбливать его как отщепенца, даже слегка презирать за странную, не мужицкую, какую-то, по их разумению, шутовскую работу на господском «киякире», т. е. в театре. Василий и в самом деле успел отвыкнуть от крестьянских трудов и забот, от «тягла», стал, что называется, крепостным интеллигентом. Со временем это самым болезненным образом осложнит его жизнь, однако покамест, под рукою своего образованного и гуманного барина, благословившего, к тому же, его любовь и женитьбу на Милодоре, Василий чувствует себя если и не счастливым, то, во всяком случае, человеком на своем месте.

Организация театра, подбор труппы, работа с нею всецело зах-ДО ватили Цевловского, он отдавал этому делу все силы — душевные и материальные. Хозяин театра сам был и автором пьес, и их режиссером. «Он сам всему учил актеров и всем распоряжался», - вспоминает дочь. И успех не заставил себя ждать.

Захолустный городок в три тысячи жителей, каким было Поречье сороковых годов, оживал разве что в дни ежегодной ярмарки или дворянских выборов — остальное время шло томительно и однообразно. Отчасти поэтому музыкально-драматические вечера у Цевловских сразу же становятся популярными и даже в некотором роде престижными. «К нам все стремились», — вспоминает Водовозова. Нередко приезжали целыми семьями, причем не только из самого города и его окрестностей, но и из отдаленных медвежьих углов, делая по 30 и 40 верст по нелегким дорогам. Не всякий, однако, удостоивался чести быть приглашенным и принятым у разборчивого Цевловского, который по-прежнему ограждал себя от кнутобойцев-помещиков и взяточников-чиновников. «За гордое отношение моего отца к чинам полиции и судебного ведомства последние его недолюбливали».

Содержание театра, пусть даже такого скромного, как поречский, требовало не только знаний и энтузиазма, но и солидного материального фундамента. Тем более что деятельность Цевловского с самого начала была совершенно бескорыстной, в полном смысле слова просветительской. Мало того, что со зрителей не взималось никакой платы, -

гостеприимные хозяева то и дело входили в чувствительные для них дополнительные расходы. Бывало, скажем, что приехавшее издалека семейство оставалось у них для ночлега или даже, пользуясь оказией, задерживалось в городе на несколько дней, угощаясь при этом, как водится, отнюдь не за собственный счет. Между тем, по всем признакам, финансовые дела Цевловского шли совсем не блестяще. В 1841 году в «Смоленских губернских ведомостях» появляется примечательное объявление о продаже в Поречском уезде нескольких деревушек с 37 ревизскими душами, принадлежащих «майорше Александре Цевловской», — за неплатеж 7800 рублей ассигнациями с процентами по займу 1833 года. Продавалось, судя по всему, имение супруги Николая Григорьевича. С учетом все растущей семьи (к 1848 году у Цевловских было уже ни много ни мало 12 детей), содержание театра и «музыки» становится ув- | лечением все более и более разорительным. И дело здесь было, к по-видимому, не в каких-то хозяйственных промахах поречско- го просветителя — такова была общая участь крепостных театров николаевского времени. Лет за десять до того, например, полным банкротством закончил свою историю даже театр богатейшего графа Каменского в Орле.

Судя по всему, прежде всего пошатнувшееся благосостояние побудило Цевловского к поиску службы, т. е. дополнительного источника дохода. Согласно опубликованным в тех же «Губернских ведомостях» результатам очередных дворянских выборов, в 1843 году он был избран на должность поречского уездного судьи. Но и это не помогло. После смерти Николая Григорьевича - в холерную эпидемию 1848 года — на его наследниках тяжелым грузом повисли сделанные им обязательства и долги, после оплаты которых семейство опускается в категорию мелкопоместного дворянства: осталось 80 ревизских душ. В конце концов пришлось продать даже городской дом и вернуться в глухое Погорелое. Туда же, как память о счастливом прошлом, свезли остатки театрального реквизита. Для вдовы Цевловского начинаются годы упорной борьбы за выживание семьи. Тем не менее ни она сама, ни дети никогда ни в чем не упрекнули покойного - напротив, чем дальше, тем больше в семье складывается настоящий культ его памяти, своего рода благоговейная легенда о нем.

Как мы видели, поречский театр Цевловского мало походил на обычное помещичье предприятие крепостного времени. Тем не менее и его история не совсем свободна от родимых пятен крепостничества, от тех издержек, которые почти с неизбежностью порождаются противоестественным делением общества на господ и рабов. Нам неизвестна в подробностях судьба поречской труппы после смерти ее владельца, но, как уже говорилось, хорошего в этих случаях было мало. Примером такого рода злоключений крепостного интеллигента может служить дальнейшая история Васьки-музыканта и его Милодоры.

Оказавшись после ликвидации театра практически не у дел и ни к чему более не приспособленный, Василий все больше воспринимается как лишний рот и обуза для обедневшей барыни, становится каким-то шутком гороховым в глазах крестьян и злорадствующей дворни. Его фанатичная преданность музыке представляется теперь «дикой и странной». Только по вечерам, уединившись в сарае, он позволяет себе отвести душу на любимой скрипке, «пиликаая, по словам крестьян, таково чудно, что моченьки нету слушать». Для Василия начинается полоса унижений и травли, и в будущем не видать ничего хорошего. К счастью, судьба и на этот раз снизошла к крепостному музыканту.

У князя Г., как оказалось, не забыли талантливого поречанина, и, в ответ на его отчаянное письмо, в память о своем покойном муже и из уважения к «божьему дару» скрипача, пианистка-княгиня не только выкупила у Цевловской за большие деньги Василия и Милодору, но и дала им обоим вольную, сняла с них клей-мокрепостного состояния. Некоторое время спустя, уже как свободные люди, они выехали с княгиней за границу. Дальнейшая судьба нашего одаренного земляка и его жены нам неизвестна.

Люди николаевской России, опасались всякого мало-мальски свободного слова, независимого суждения, какой бы то ни было публичности. Жандармское ведомство не

улавливать крамолу и вольнодумство даже там, где их заведомо быть не могло, а верноподданное «агрессивное большинство», со своей стороны, готово было отторгнуть и вывести на чистую воду всякого, кто хоть как-то выбивался из общего строя. Это именно в те годы у нас на Смоленщине безобидный шутник и картежник князь Антон Степанович Друцкой-Соколинский прослыл опасным «фармазоном» и чуть ли не тайным якобинцем только потому, что в видах эпатажа, ради озорства появлялся на публике в жилетах с вытканными на них по-французски словами «свобода, равенство, братство». При таких обстоятельствах просветительские начинания и весь независимый образ жизни Цевловского требовали от него не только большой культуры и чувства собственного достоинства, но и настоящего мужества. В тяжелейшее время, когда одна за другой рассеивались либеральные надежды его молодости, он сумел превратить свой поречский дом в настоящий очаг передовой мысли, литературы, искусства - посреди «бесшабашного разгула, грязи, разврата, взяточничества, истязаний крестьян, отчаянного картежа» (Водовозова). Наследник декабристских мечтаний, Цевловский стал одним из тех, кто исподволь готовил умы к либеральным реформам Александра II. «Вам трудно поверить, - говорила своим выросшим детям его жена Александра Степановна, - но клянусь вам всеми святыми, что ваш отец уже в 30-х и 40-х годах, следовательно, в эпоху злейшего крепостничества, проводил те же гуманные идеи, которые разделяете и вы». Не случайно мы находим детей и внуков Цевловского среди деятелей русского демократического движения второй половины прошлого века (Е. Н. Водовозова, В. В. Водовозов). Старший его сын Андрей, проводя в жизнь в качестве мирового посредника крестьянскую реформу 1861 года, заслужил настоящую ненависть поречских крепостников тщательным соблюдением буквы указа, нежеланием потакать их уловкам, честным соблюдением крестьянских прав. Старшая дочь Александра, великая труженица, стала одной из лучших учительниц Витебска и Смоленска. Зерна, оставленные в их душах отцом, дали хорошие всходы, деятельность поречского просветителя отозвалась в новых поколениях.

Смоленский дворянин Николай Григорьевич Цевловский принадлежит к числу тех благородных энтузиастов и тружеников, к тем Дон-Кихотам российской свободы, усилиями которых, по определению И. С. Тургенева, хотя и трудно, подвигается вперед история и сохраняет свое достоинство человек.

РОЛИ И ЦВЕТЫ ИОСИФА ТЫРТОВА

На топографических планах дореволюционного Смоленска, в той его части, которая некогда именовалась слободой Кукуй, близ Петропавловской церкви, если внимательно присмотреться, можно обнаружить небольшой, ныне уже не существующий «проулок Тыртова». В старые годы наша топонимика еще редко расходилась со здравым смыслом, названия «городовых» частей, концов, улиц, переулков брались не с потолка, но были связаны с реальными фактами местной истории и географии, что придавало городам неповторимый колорит, «лица необщее выраженье». Произвольных, надуманных, инородных обозначений типа нынешней смоленской улицы Парижской Коммуны (историческая Резницкая!), не говоря уж о таких бюрократических вывертах советского времени, как улицы МОПРа, Коминтерна, Профинтерна, 12-ти лет Октября, 60-летия ВЛКСМ ит. п., практически не было. Поэтому мы вправе задуматься над вопросом: чье имя получил скромный заднепровский «проулок» и какое отношение имеет носивший это имя человек к нашему городу? Деятеля по фамилии Тыртов как будто бы нет в книгах о Смоленске, не слыхивали о таковом и любители местной старины. Позволю себе предложить читателю свою версию ответа на поставленный вопрос.

Как-то в начале прошедшего столетия, разбирая оренбургский архив поэта пушкинского времени Ознобишина, известный историк и литературовед Б. Л. Модзалевский обнаружил в нем среди прочего небольшую, на шести листах, не сказать чтобы грамотную рукопись под названием «К истории города Смоленска». На самом же деле это была совсем не история города, а, скорее, автобиография одного из его жителей -

скромного мещанина Иосифа Гавриловича Тыртова. Известно, что Ознобишин в середине прошлого века какое-то время жил в Смоленске и при этом проявлял живой интерес к его истории и культуре, сотрудничал с губернским статистическим комитетом, вокруг которого группировались в ту пору смоленские краеведы. Судя по всему, именно тогда по его инициативе наш земляк набросал свои мемуары, и таким путем они оказались позднее на родине поэта, в далеком Оренбурге. Модзалевский, в свою очередь, счел их заслуживающими внимания и в 1915 году опубликовал в первом номере журнала «Русский архив».

«Автобиография Иосифа Тыртова» и в самом деле содержит Г интересные сведения о культурной жизни Смоленска в один из самых глухих для исследователей его периодов - тридцатые и сороковые годы прошлого столетия. Дело, однако же, не только в краеведческой ценности документа. Записки Тыртова приобретают сегодня и другой, я бы сказал — психологический, личностный интерес. Они знакомят нас с незаурядным, ярким, деятельным человеком — человеком, жившим, что называется, не хлебом единым. На мой взгляд, наш земляк прошлого века в избытке обладал такими качествами, каких требует от человека нынешнее нелегкое время и которых хронически не хватает большинству из нас, привыкших за долгие годы к исполнению и отученных от инициативы, предприимчивости, творчества.

Хозяин

Тыртовы - истари живший в Смоленске богатый купеческий род. Правда, в начале XIX века его благосостояние резко пошатнулось: дед мемуариста, Григорий Гаврилович Стефанов, потерял — по причине падежа — сразу около шестисот голов назначенного к продаже «черкасского скота». Война 1812 года, в ходе которой имущество покинувшего город скотопромышленника частью сгинуло в пожарах, частью было расхищено французами, довершила разорение. После этого Тыртовы были вынуждены покинуть почтенный купеческий крут и переписаться в мещанское состояние. Отец Иосифа — уже обыкновенный мелкий мясник. Будущее старого рода затянуло тучами, и оно не сулило мальчишке никаких особых благ и преимуществ, тем более что его появление на свет (30 марта 1811 года по старому стилю) стоило жизни его матери, умершей на десятый день после родов.

Вскоре отец женился вторично.

Уже в шесть лет, с помощью дядьки Благовещенской и дьяко

на Крестовоздвиженской церкви Иосиф Тыртов осилил букварь и потянулся к чтению. Далее, однако, дело застопорилось - отчасти по его собственной вине. Самобытная натура Иосифа как-то не укладывалась в школьную колею, противилась учительской обработке. Мальчишка то и дело убегает с уроков за город, ловит птиц, мастерит для них клетки или же вырезывает деревянных кукол для издавна любимого смоленским простонародьем вертепного театра. В конце концов, отец не выдержал, забрал тринадцатилетнего шалопая из уездного училища и стал приспособлять его к хозяйственным заботам и семейному делу. Да и то сказать, Гавриле Григорьевичу в его непростой ситуации нужен был не столько грамотей и книголюб, сколько расторопный помощник. А для работы в лавке и простого письма и счета достаточно.

Относительно беззаботная жизнь молодого Тыртова неожиданно и резко оборвалась в 1831 году, когда добравшаяся до Смоленска знаменитая холерная эпидемия унесла его отца и обрушила на неокрепшие сыновьи плечи ответственность за дом, за торговлю и за судьбу четырех сводных сестренок (от второго отцовского брака). Как вы думаете, что в первую голову сделает лишенный родительской узды, предоставленный самому себе двадцатилетний недоросль? Правильно: женится. Причем, не обдуманно и спокойно, не по здравому смыслу и расчету, не на девице с восьмьютысячным приданым (были в округе и такие), а обязательно «по страсти» - то есть головою да в омут. В нашем конкретном случае - на дочери бедного смоленского мещанина Павла Укусникова. И свадьбу влюбленные закатили такую, о которой долго еще судачили досужие соседские кумушки: «А как я был

еще молод и неопытен, то и издержал по смоленскому обычаю на свадебные обряды большую половину бывшего у меня капитала». Как говорится в старой песне - «а поутру они проснулись...»

Положение, в котором осознали себя «поутру» счастливые молодожены, выглядело мало сказать незавидным: у всякого опустились бы руки. Однако Тыртов, ко всеобщему удивлению, не пал духом. Тут впервые он предстает перед нами другим человеком - из тех, кого трудности не расслабляют, не опустошают, а, наоборот, пробуждают, подстегивают и заставляют действовать. никоим образом не мог он знать недавно вошедших в нях обиход импортных словечек «маркетинг», «менеджер» и других им подобных, он говорил по-русски проще и, значит, лучше нас, однако к его поведению в критические моменты, ко многим последующим его делам и успехам вполне приложимы эти модные современные термины. Поразмыслив о жизни и потребностях горожан, оценив, как сказали бы сегодня, рыночную ситуацию, молодой мясник возводит у себя на подворье обширные парники для выращивания ранних овощей, которые в тогдашнем Смоленске были еще, судя по всему, большой редкостью. Расчет оказался точным: уже через год Тыртов не только вернул неразумные

11 свадебные издержки, но и купил новый дом для своей семьи. И дело пошло. Под давлением обстоятельств и в осознании ответственности вчерашний байбак становится деловым, предприимчивым человеком, надеждою и опорой своих близких. Похоже, заработали наконец гены его энергичных предков - купцов и скотопромышленников.

И все же не ради коммерческих талантов и достижений Иосифа Тыртова я затеял о нем разговор. Личность нашего земляка интересна и в другом, так сказать — более возвышенном смысле. Ни в чем не уступая нынешним «новым русским» как «бизнесмен», он превосходил их своею духовностью, открытостью миру и людям, свойственным ему чувством красоты и творческими порывами. Тыртов был одновременно прагматиком и мечтателем, купцом и художником, хотя бы и доморожденным. Был прежде всего человеком. Именно это, по-видимому, привлекло к нему поэта Ознобишина. Началось все со смоленских гастролей известного в российской провинции театра Г. Рыкановского - когда-то прекрасного киевского артиста, а теперь антрепренера.

Артист

Театральное искусство Смоленщины имеет длительную и в то же время очень неровную, прерывистую историю. За последние три столетия город не раз охватывала театральная горячка, но были и периоды полного застоя и спада. Именно таким кризисным, промежуточным, малоинтересным представляется время Иосифа Тыртова - тридцатые и сороковые годы девятнадцатого века. Своего театра в городе давно уже не было. Время от времени приезжали на гастроли разные странствующие труппы (одна из них привезла как-то даже гоголевского «Ревизора») да в залах Дворянского собрания местный бомонд, губернские дамы и кавалеры, долгими, скучными зимами развлекали себя благотворительными спектаклями. Уровень их был любительский, и посмотреть мог далеко не каждый. Учтем и то обстоятельство, что в духовной, купеческой и мещанской среде театр вообще считался делом богопротивным, занятием для всякого рода пропащих, непотребных людей. Известный в свое время актер Н. И. Богдановский, детство которого прошло в тогдашнем Смоленске, вспоминал, какой переполох поднялся в его семье, какое отчаяние овладело родителями, когда они выяснили, что их «Нилочка пошел по балаганной части». Такова была и та среда, в которой вырос и жил Иосиф Тыртов. Нетрудно представить, какие противоречивые чувства обуревали его, когда, по предложению какого-то приятеля, он впервые в жизни отправился в настоящий театр, на один из спектаклей упомянутой труппы Рыкановского. Ведь до этого он знал лишь вертеп с его деревянными куклами.

Молодые люди наших дней, почти с пеленок перекормленные кино-телевизионными видеоконсервами, вряд ли поймут тот восторг, какой охватил малообразованного

смоленского мещанина на обычном, без всяких «звезд», драматическом представлении. «Мне так понравилось, что я не знал, где находился», - признается он. Мы уже не так наивны и впечатлительны. Но, с другой стороны, вместе с непосредственностью восприятия мы утратили и способность совершать такие поступки, которые воследовали в жизни нашего земляка после сделанного им открытия. Тыртов не мог быть только потребителем, все свои увлечения он претворял в дела.

Спектакли Рыкановского лишили смоленского мясника всякого покоя. С жадностью набрасывается он на доступные драматические произведения - «театральные книги», как он их по-своему называет. Воображение разыгрывается. Тыртов спит и видит себя на сцене в образе героев прочитанных книг. И что с того, что в городе нет театра! Если нет - можно выдумать. Не боги горшки обжигают! А энергии и напора, если уж что-то в душу запало, Иосифу было не занимать. Заразив своим настроением нескольких приятелей и знакомых (человек, видимо, был общительный), он сколачивает из них группу энтузиастов и объявляет о рождении не более и не менее как собственного театра - самодеятельного, как сказали бы о нем сегодня. «Жители города Смоленска» - со скромной гордостью назвали себя друзья. Дескать, а мы, рожки смоленские, не лыком шиты! «Товарищи мои тоже были мещане. А в актрисы были ангажированы мною бедные дворяночки». Судя по всему, для мещанских девиц и купеческих дочек такая «эмансипация» как публичное, при всем честном народе появление на подмостках, в тогдашнем Смоленске была еще делом немислимимым.

Самое поразительное во всей этой истории, что театр Иосифа Тыртова и в самом деле состоялся. И не только состоялся, но стал интересным, заметным явлением культурной жизни нашего города в пору ее относительного безвременья и застоя.

Удачное начало, как известно, - половина дела и залог будущих успехов. «Жители города Смоленска» это хорошо понимали.

Похоже, именно из-за перестраховки, в угоду модному «французскому» вкусу они выбрали для дебюта игривую комедию Ансело «Слепой, или Сестры», только что появившуюся в Москве. Авторы водевиля М. и Ж. Ансело - модные, что называется, репертуарные французские драматурги тридцатых годов, их изящные, гриву, а з ные юморески одна за другой шли на столичных и провинциальных сценах, их всю расхваливала ориентированная на массовый вкус петербургская «Северная пчела». Понятно, что напуганные собственной храбростью начинающие смоленские лицедеи просто не могли не посчитаться с этим поветрием.

Первый спектакль «Жителей города Смоленска» состоялся в 1839 году в обширном доме аптекаря Мего, где, как правило, выступали и приезжие труппы. Доморощенные артисты - и прежде всего сам Тыртов в заглавной роли доктора Бернарди - сразу же пришлись по душе не избалованной развлечением смоленской публике. И дело пошло. В ближайшие годы «Тыртов со товарищи» подготовили еще как минимум четыре новых спектакля, причем уже на своем, российском материале. Французские кавалеры уступают сцену самобытным отечественным типам. При желании в «репертуарной политике» Тыртова можно уловить даже легкую либеральную, демократическую тенденцию.

Второй работой «Жителей города Смоленска» стал спектакль по пьесе московского драматурга Н. С. Соколова «Невеста под замком», опубликованной в 1838 году и только что опробованной столичными театрами. В этом водевиле Тыртов исполнил роль Корюшкина. Для третьего спектакля выбрали «Бабушкиных попугаев» - один из лучших водевилей популярного комедиографа и к тому же недавнего смоленского губернатора Н. И. Хмельницкого. Похоже, что таким выбором «Жители города Смоленска» выражали сочувствие и благодарность отставленному от должности и уже находившемуся под арестом поэту-администратору. Не исключены в спектакле и другие местные ассоциации: по некоторым сведениям, героиня «Бабушкиных попугаев» напоминала смолянам хорошо известную в губернии старую барыню - Елену Дмитриевну Каховскую.

Четвертую премьеру — по комедии Ф. Ф. Иванова «Женихи, или Век живи - век учись» (1808) - можно считать самым рискованным поступком труппы Тыртова. Дело в том, что «Женихи» Иванова - одно из самых резких антикрепостнических про

«цивилизованный» помещик Живодеров, ведет хозяйство по новейшим английским рецептам, что не мешает ему самым диким, отечественным образом драть по три шкуры со своих крестьян. Скотине в его поместье живется лучше, чем крепостным людям. Добродетельная, гуманная героиня отказывает «культурному» жениху: «Я не могу любить тирана», — заявляет она. Тыртов исполнил в спектакле роль обличителя крепостнических злодеяний - резонера Стародума.

От премьеры к премьере репертуар самодеятельных артистов становился все интереснее и ответственнее. И в конце концов они замахнулись на театральную классику - «комическую оперу» А. О. Аблесимова «Мельник — колдун, обманщик и сват» (1779), пьесу, непростую для исполнения, пронизанную грубоватым простонародным юмором, с песнями, частушками, плясками. «Премилым народным водевилем» назвал ее когда-то строгий Белинский. Крестьянин Анкудин, роль которого взял на себя Тыртов, выдает свою дочь, красавицу Анюту, замуж за «детину-хлебопашца» Филимона, т. е. за человека своего, крестьянского состояния, однако жена Анкудина - «провальная старуха», «баба дворянского отродья», как она характеризуется в пьесе, - хотела бы себе другого зятя, поблагороднее. Влюбленные Филимон и Анюта одерживают победу и соединяются лишь с помощью «могучего чародея», дедушки Фаддея - умного и хитрого местного мельника с репутацией деревенского колдуна. Крестьяне вообще выглядят у Аблесимова предпочтительнее дворянства, наделяются чувством сословного достоинства, что побудило когда-то нашего земляка, поэта Шаховского, связать его комедию с фонвизинским «Недорослем».

Таковы известные нам сценические работы труппы Иосифа Тыртова, относящиеся к концу тридцатых - началу сороковых годов.

В эпилоге комедии «Невеста под замком» один из актеров, выйдя из роли, должен был обратиться к зрительному залу с просьбой о снисхождении:

Теперь решения от вас
С боязнью автор ожидает.
Затем, что он второй лишь раз
Свой труд на суд ваш предлагает.
Так будьте ж добры, как всегда,
И снисходительно судите...
Нас не браните, господа,
И водевиль наш поддержите.

По утверждению Тыртова, смоленская публика и в самом деле горячо поддержала его начинание, отнеслась к землякам более чем благожелательно, а сам он получил славу первого местного комедианта, стал своим человеком в среде городской интеллигенции, вошел, по его выражению, в круг «ученых людей».

Организация труппы «Жители города Смоленска» - только часть сценических подвигов смоленского простолюдина.

В 1840 году в Смоленск на гастроли прибыл еще один профессиональный театр - труппа Федорова. По ходу дела, как это нередко случается в такие моменты, у театра возникли проблемы с исполнителями, и антрепренер, прослышав о талантах Тыртова, обратился к нему за помощью. С великой горячностью, без всяких контрактов и платы за труд, принимается он за предложенные роли. Правда, поначалу они мало соответствовали его наклонностям, его по преимуществу комическому, простонародному амплуа. Тем не менее, и в таких ролях он смотрится ничем не хуже профессионалов, не портит впечатления, не выпадает из игры. Более того - чувствует, что способен на большее. Мечта смолянина - заглавная роль в какой-нибудь комедии с популярным тогда малороссийским уклоном

(похоже, именно «фирменные» украинские юморески больше всего понравились ему когда-то в репертуаре Рыкановского). В надежде на удачу - а может быть, и по предварительной договоренности с антрепренером - он достает и выучивает веселую комедию Г. Ф. Квитки (Основь-яненко) «Шельменко - волостной писарь» и при повторных гастролях театра Федорова блестяще исполняет перед земляками роль наглого, трусливого и вороватого Кондрата Шельменко. Судя по всему, это был его звездный час. Грубоватая малороссийская юмористика Квитки, которого «Северная пчела» свысока третировала за «подражание героям питейных домов», совместившись с простодушной, самобытной манерой смоленского мещанина, дала превосходный эффект: публика встречает и провожает своего любимца рукоплесканиями, а театр Федорова делает в нашем городе непривычно хорошие сборы.

Что было потом?

Иосиф Тыртов исполнил еще несколько ролей в спектаклях федоровской труппы. Однако любые гастроли когда-нибудь да заканчиваются. Собственных «Жителей города Смоленска» Тыртов явно перерос, и, ввиду занятости руководителя на «большой» сцене, коллектив, по-видимому, распался. Другого театра в городе не было. Сделать же «бродячим комедиантом», пойти, имея на руках семью и хозяйство, в профессиональные актеры не имело никакого житейского смысла. Искусство, разумеется, требует жертв, но приносить их все же лучше в молодые годы. Смоленский самородок для этого явно припоздал. Но что-то подсказывает нам, что в иное время и при более благоприятном раскладе наш земляк вполне мог развиваться в незаурядного мастера того реалистического стиля актерской игры, который как раз в его годы утверждался на русской сцене - усилиями прежде всего Сосницкого в Петербурге и великого Щепкина в Москве.

Цветовод

Иосиф Гаврилович Тыртов прославился в родном городе не только артистическим дарованием и сценическими успехами. Были у него и другие, тоже весьма нестандартные и выдающиеся в своем роде достижения — прежде всего на поприще садово-огородного искусства.

Смоленские сяды в старые времена были известны далеко за пределами губернии, за саженцами приезжали, бывало, аж из Прибалтики. В позапрошлом веке иногородние гости увозили отсюда не только всем известные «вяземские пряники», но и фирменные наборы засахаренных фруктов в деревянных коробках - так называемые «смоленские конфетки». А где-то в 1830-е годы началось массовое увлечение оранжерейным делом, энтузиасты которого выращивали такие экзотические для здешних мест диковинки, как абрикосы, персики, виноград, даже ананасы. И если смоленские апельсины получались все же мелковатыми и недостаточно сладкими, то, скажем, лимоны ценились гурманами даже выше привозных, южных. По данным губернатора Н. И. Хмельницкого, который, похоже, поощрял это дело, в 1835 году на Смоленщине насчитывалось уже 214 оранжерей. В их число, несомненно, входили и теплицы Иосифа Тыртова.

Любовь к природе, интерес ко всему живому развились у Тыртова еще в мальчишеские годы. К деревьям и птицам, на вольную волю убегал он тогда от школьной формалистики. Позднее, в начале тридцатых годов, именно овощные растения, как мы помним, спасли его от полного разорения и позволили снова встать на ноги. Однако они стали лишь первым опытом Тыртова-земледельца. На любом поприще этот неутомимый человек шел дальше других, к любому делу подходил творчески, нестандартно и добивался подчас удивительных результатов.

Как-то некий местный «химик и механик» Сорокин (тоже, видимо, человек из породы Кулибиных) попросил Тыртова о небольшом одолжении: присмотреть во время его отсутствия за цветочными оранжереями, за дорогими ему камелиями, магнолиями, юкками и другими красивыми редкостями, а вернувшись, в благодарность за труды подарил несколько сортов роз и георгинов. Этого оказалось более чем достаточно для зарождения

новой страсти: «С этих пор я сделался любителем цветов». В 1843 году Тыртов заводит у себя первую цветочную оранжерею. Стремясь и здесь дойти, как говорится, до самой сути, он изучает доступные ему в Смоленске ботанические руководства, выписывает из Германии семена и каталоги, для чтения которых даже выучивает в нужном объеме немецкий язык. В скором времени в его хозяйстве под цветами оказывается уже три десятины земли, а в оранжереях в лучшую их пору стоит до семи тысяч цветочных горшков. У Тыртова теперь есть свои лимоны, лавры, магнолии, камелии, рододендроны... Одних только роз шестьдесят сортов. Отдельная теплица посвящена разнообразным кактусам. И все же не им, не традиционным красавицам отдано сердце новоявленного цветовода. Главным увлечением Тыртова становится недавно появившийся в Европе и только что добравшийся до России махровый заокеанский пришелец - георгин.

Сведения о георгине в современной нашей специальной литературе до странности противоречивы. Авторы вышедшей в 1984 году в Москве книги о них ничтоже сумняшеся заявляют, что цветок появился в России лишь на исходе XIX столетия, «массовая его культура началась только после войны», т. е. после 1945 года, а отсчет отечественных сортов следует вести с 1950-х годов. Другой, пишущий на ту же тему специалист начинает историю российского георгина с 1830-х годов, но и он считает, что дореволюционная Россия не знала собственной его селекции и что это маленькое отставание преодолено лишь в советское время.

Ученым людям, конечно, виднее, но и факты - тоже упрямая вещь, а они как-то плохо согласуются с процитированными книгами. «Какие она разводила георины, шток-розы, гиацинты!» - вспоминает смоленское Поречье сороковых годов XIX века и свою старшую сестру известная писательница Е. Н. Водовозова. А из автобиографии Иосифа Тыртова мы узнаем, что в его оранжереях в те же годы произрастало уже до трехсот разновидностей мексиканского цветка. Более того, наш неугомонный зем- 1 ляк не только культивировал известные его сорта, но и получал и новые, т. е. занимался селекцией — и совсем небезуспешно! Достаточно сказать, что в вышедшем в 1853 году в Штутгарте георгином каталоге знаменитого немецкого цветовода Н. Озе под номером 875 значится не более и не менее как выращенный в Смоленске особого типа желтый георгин — «георгин Иосифа Гаврилова Тыртова». Это как минимум означает, что Тыртов участвовал в больших специальных выставках. И, может быть, не только российских. По гордому его выражению, георины ввели его, малообразованного смоленского мещанина, «в историю флоры». Получается, что старая Россия все-таки знала, что такое георгин, и умела с ним работать. Ново то, что хорошо забыто!

Иосиф Тыртов был уважаемым в Смоленске человеком. Его не раз выбирали на разные «мирские» должности: городского старшины, церковного старосты и др. Никогда и нигде он не относился к делу формально, не работал вполсилы. В 1848 году, участвуя в борьбе с эпидемией холеры, сам заразился страшной болезнью, но, к счастью, остался жив. Дальнейшая его судьба, как и дата его кончины, остаются мне пока неизвестны.

А теперь вернемся к тому кривому заднепровскому «проулку», по поводу которого завязался наш разговор. Все говорит за то, что именно в память даровитого смоленского самоучки — актера и цветовода — где-то во второй половине XIX века получила улочка свое имя. Можно предположить, что именно здесь, вблизи древнего храма, у не пересохшей еще в ту пору речки Горы- дьянки стояло его подворье и располагались знаменитые парники. С тех пор ушло много времени, в нынешнем Смоленске никто и слыхом не слыхивал ни о Тыртовом проулке, ни о самом Тыртове. Человек по имени Иосиф Тыртов на самом деле был «жителем города Смоленска», отдавал именно этому городу свои силы и дарования, пользовался известностью и уважением земляков.

«СЦЕНА – МОЙ КРЕСТ»

От юности моя мнози борют мя страсти

Книга «Сцена - мой крест» нашего земляка Н. И. Богдановского, довольно известного в свое время провинциального актера и литератора, выступавшего под сценическим именем «Нил Мерянский», а в прессе — под псевдонимом «Старец Нил», принадлежит к донные не востребовавшимся материалам Смоленского краеведения. Эта любопытная книга вышла в 1914-1915 годах в Новгороде двумя небольшими малоформатными томиком тиражом в тысячу экземпляров с весьма размахистым посвящением («Врагам, друзьям и ученикам актера Мерянского») и с назначением возможных от нее доходов «больным и увечным воинам» (был разгар первой мировой войны), престарелым артистам, а также «недостаточным учащимся» Новгородской, Смоленской и Симбирской гимназий - эти три города, как увидим, были главными вехами на причудливом жизненном пути автора книги.

Н. И. Богдановскому на склоне его дней, после полувековых актерских странствий по городам и весям Российской империи, и в самом деле было что вспомнить и о чем порассказать своим читателям. Достаточно отметить, что в разное время судьба сводила его с такими известными в истории отечественной культуры людьми, как прозаик Боборыкин, поэт Фофанов, публицист Шелгунов, издатель Краевский, актеры Долматов, Ленский, Андреев-Бурлак, звезда русской сцены Мария Гавриловна Савина. Да и сам мемуарист - эффектная и совсем не бесталанная личность. Для нас же, смолян, весьма значительна также краеведческая ценность этого раритетного по нынешнему времени двухтомника.

Нил Иванович Богдановский родился в 1847 году в семье личного секретаря смоленского архиерея. В нашем городе прошло его детство и началась учеба; сперва у псаломщика архиерейского дома отца Валериана, который вколачивал азбуку в своего подопечного главным образом кулаком и линейкой, потом в частном пансионе некоей Арины Голощиновой, умевшей драться с учениками не хуже Валериана, и наконец в Смоленской губернской гимназии, тоже переживавшей, судя по всему, не лучшие свои времена. Надо признать, что и здесь из Нилки Богдановского не получилось послушного и прилежного ученика, так что сивому гимназическому сторожу Осипу Антоновичу по требованию 1 раздраженных наставников (чаще всего учителя математики) то и дело приходилось по субботам раскладывать мальчишку на лавке, дабы «изгнать у него розгочкой всю лень из-под колен». Видимо, по этой «болезненной» причине гимназический мундирчик с красным воротником, медными пуговицами и смоленским гербом, как и все вообще, что связано со школой и учителями, вспоминаются Богдановским без обычного в таких случаях умиления и пиетета, а наоборот — с глубоко укоренившимся недоброжелательством. «Жестокосердные учителя приохочивали нас к науке не словом ласки, а кулаками, линейками и розгами», - уверяет он. Большинство представителей смоленского учительского сословия выглядит в мемуарах далеко не лучшим образом. Похоже, что автор не смог подняться здесь над старыми обидами, хотя, с другой стороны, и в истории гимназии, самого заслуженного, старинного светского учебного заведения нашей области, далеко не все и не всегда было благополучно.

Современных краеведов в воспоминаниях Богдановского несомненно привлекут также нелицеприятные характеристики деятелей губернской администрации, представителей интеллигенции и церковного клира, колоритные подробности быта и нравов старого Смоленска. И все же главный уклон книги, в полном соответствии с ее названием, - специфически театральный.

Артистическое призвание, «бесповоротный порыв к сцене» недвусмысленно и очень бурно проявились у Нила Богдановского уже в самом раннем возрасте, после того, как 3 января 1852 года, пятилетним мальчиком, он побывал со своим отцом на спектакле «Что имеем - не храним» (надо полагать, это было выступление каких-то заезжих комедиантов, поскольку собственного театра в тогдашнем Смоленске еще не было). Происходящее на сцене, игра актеров так потрясли маленького Нил- ку, что ночью у него подскочила температура, начался бред. Перепуганная нянька Прокофьевна принялась - от греха - «спрыскивать ребенка с уголька». Силен, однако же, враг рода человеческого — не подействовал уголек. Во весь следующий день, невзирая на уговоры и суровые окрики

взрослых, Нилка не мог остановиться и продолжал распевать во все горло куплеты из вчерашнего водевиля. Вечером его высекли. Какое там! В мальчишку словно бес вселился. Совратив вослед себе в ближайшее время сестер и братьев, малолетний антрепренер сколачивает) 1 тайком от родителей собственную артистическую шайку и с ее помощью начинает систематическое передразнивание в лицах всех подряд знакомых и родственников. Особым успехом у окрестной мальчишеской публики поначалу пользовалась имитация соборного богослужения, которое, благодаря отцовской должности, Нилка знал досконально, причем не только в торжественном его, лицезвом варианте, но и с закулисной стороны, в те моменты, когда соборные клирики, готовясь к священному действию, словно актеры перед выходом на сцену расчесывают перед зеркалом волосы, обдергивают стихари и ризы, раздувают угли в благовонных кадилах и при этом, как ни в чем не бывало, самым беззаботным образом весело беседуют о посторонних вещах. Какое уж там благолепие, какой страх божий! Почему бы и маленьким лицедеям не разыграть соборную мистерию? Повязав на головы черные платки и подтянув почти до ушей материнские юбки, они самозабвенно подражают актерам соборного двора, а их премьер Нилка, дополнив свой маскарад тяжелой отцовской тростью, являет зрителям самого преосвященного - сурового епископа Тимофея.

После того как «игра в попов» прискучила, группа Нилки Богдановского переключается на другое высокоуважаемое сословие — воинское, на сюжеты из проходивших « по табельным дням» гарнизонных парадов и смотров. Сам Нилка и тут вскорости выдвинулся, отличился и всех превзошел: подражая по ходу дела известному в Смоленске грубияну и матерщиннику полковому командиру Ивану Никитичу Белановскому, он так виртуозно и кстати уснащает свою партию великолепным полковничьим матом, что юных зрителей охватывает веселый ужас и мороз подирает по коже. Талант, ничего не скажешь!

Вся округа зовет теперь Нилку не иначе, как «комедиантом».

Почтенных родителей юного пересмешника в конце концов охватывает самая натуральная паника. Ни уговорами, ни битьем, ни самыми достоверными сообщениями с того света, где черти заставляют фигляров и паяцев лизать раскаленные сковородки, им не удается отвадить сынишку от непристойного кривлянья и кошунства. Отец, судя по всему, не раз и не два покалялся в том, что так неосмотрительно прихватил с собою Нилку тем памятным январем, идучи на непотребное светское зрелище. Забегая вперед, скажем, что родители Богдановского так никогда и не примирятся с тем, что их «Нилочка пошел по балаганной части», до конца своих дней будут переживать его профессию как величайший позор, как громадное семейное несчастье. «Я долго молчал, смотрел и убедился, что ты навек не человек», — очень искренно и горько напишет отец сыну много лет спустя. И в этом нет ничего необычного: таковы были в ту пору повсеместные, расхожие обывательские представления о театре, о его людях и нравах.

В 1861 году семейство Богдановских вынуждено было покинуть Смоленск и перебраться в Симбирск, однако и там, судя по всему, дела сложились не лучшим образом. Во всяком случае, через некоторое время родители оставляют строптивного Нила в Симбирске доучиваться в одиночку, а сами с остальными детьми отправляются на поиски лучшей доли — сначала в Москву, потом в Белоруссию.

«И шуку бросили в реку», — так точнее всего можно определить новое житейское положение юного «комедианта».

Разумеется, гимназист Богдановский тут же делается завсегдатаем симбирского театра, проникает за его кулисы, знакомится с актерами — вплоть до того, что с несколькими великовозрастными однокашниками, столь же завзятыми театрами, сам организует маленькую труппу и не без успеха гастролирует с нею в Сызрани. Жить-то надо! Учеба, само собою, отступает на второй, если не на третий план. В шестом классе из-за неладов с геометрией «комедианта» оставляют на второй год (равновесия ради упомянем, что зато с литературой отношения были всегда самые благополучные). Дурная репутация

Богдановского усугубляется в глазах гимназического начальства замеченной у него склонностью к вольнодумным стихам Огарева и Некрасова, а также собственными его предосудительными публикациями в рукописном ученическом журнале «Складчина», возникшем, опять-таки, не без его неперемного участия. Дело дошло до обыска на квартире. В конце концов чаша терпения благонамеренных воспитателей переполнилась — Богдановского исключают из гимназии. Без образования и профессии, без денег и знакомств начинает он свое плавание по морю житейскому, поиски своего места под солнцем.

«Сцена - мой крест», — утверждал Богдановский. В этих словах нет преувеличения. С годами его детская страсть к пародии и перевоплощению приняла поистине роковой характер. Где бы он ни был и чем бы ни занимался (а после Симбирска ему придется еще поработать сортировщиком почты в Могилевских Горках, учеником: аптекаря и мелкой сошкой губернского правления в Харькове) — на первом плане у него всегда будет театр и только театр, да и сам он, и в жизни, всегда и везде, без устали и по любому поводу, по недовольному замечанию его харьковского столоначальника, «балаганит словно Петрушка». В Горках без Нила не обходится ни один любительский спектакль, в Харькове он не пропускает ни единой премьеры городского театра (кстати, одного из лучших в империи) и помещает отзывы на них в «Губернских ведомостях». В 1865 году, т. е. семнадцати лет, сочинил сам некую драму из монастырской жизни под названием «Выродки». Его прямо-таки распирает жажда театрального самовыражения. Сегодня, с большого расстояния, кажется, что Богдановский действительно был обречен стать артистом, не мог в конце концов не попасть на профессиональную сцену. Даже и по натуре своей он как нельзя более подходил для вольного, кочевого образа жизни, для богемной, полунницей и самолюбивой актерской братии.

Примечательно, что это заветное желание Богдановского, это долгожданное событие сбылось не где-нибудь, а опять-таки в родном Смоленске, куда житейские невзгоды вернули его в 1866 году и где, по счастливому совпадению, только что под руководством антрепренера Сократа Прозоровского сформировалась интересная труппа и был открыт первый в истории города стационарный театр. Недолго поколебавшись, Прозоровский зачисляет в свою труппу неизвестного юнца — «скубента», как он его иронически окрестил (вероятно, за крайнюю молодость, поскольку ни в каких университетах, кроме житейских, Богдановский, как мы знаем, никогда ничему не учился). Свершилось! Помолвившись на всякий случай накануне в Успенском соборе путеводительнице Одигитрии, девятнадцати летний шалопай впервые в жизни поднимается на настоящую, взрослую сцену.

Дебют безвестного «скубента» в театре Прозоровского оказался на редкость удачным. После нескольких эпизодических, пробных выходов в ролях без слов Богдановский играет роль лакея Степана в пьесе Островского «Не в свои сани не садись» - и дело пошло. Публика сразу заметила красивого, бойкого новичка, симпатии к нему растут от спектакля к спектаклю. Освоившись, неопит подбирает себе сценический псевдоним - «Мерянский»: в память любимого смолянами городского шута, гроб с телом, которого совсем недавно «весь город провожал до Окопа», на старое рачевское кладбище.

Страницы мемуаров Богдановского, посвященные второму в его жизни смоленскому периоду, имеют немалую ценность для театральной истории нашего города. Мы узнаем от него массу подробностей о театре Прозоровского, касающихся репертуара, состава труппы, амплуа актеров, отношений между ними и антрепренером, между театром и меценатствующей губернской знатью. Под бойким, хлестким, бесцеремонным пером Богдановского все это предстает перед нами в живых картинах, в запоминающихся, хотя, быть может, и несколько шаржированных портретах. При всех возможных оговорках книга «Сцена - мой крест» - незаменимое подспорье для всех, кто интересуется историей первого в Смоленске профессионального театра.

Что касается самого автора воспоминаний, его актерская судьба, так удачно начатая в Смоленске, еще долго, хотя и с переменным успехом, будет продолжаться на подмостках

Орла, Тулы, Мурома, Арзамаса, Одессы. «Наша бродячая профессия — из края в край земли чужой», — говорится в его книге. Одно время, в Вятке, он даже держал собственную антрепризу. Не без успеха выступал в известном московском театре Федора Корша — в любимой роли гоголевского городничего из «Ревизора». Приглашали его на пробу даже в Петербургский императорский театр — знаменитую Александринку. Любимыми драматургами нашего земляка всегда были Гоголь и Островский. Предпочтительное амплуа, судя по всему, комическое, хотя приходилось выступать и в ролях первых любовников.

Где-то ближе к старости Богдановский прекращает, наконец, свои бесконечные скитания, оставляет сцену, поселяется в Новгороде, работает над воспоминаниями и - неугомонный человек! - даже выпускает небольшую собственную газету под названием «Волховский листок». И снова, как когда-то в гимназиях, как в Смоленске у Прозоровского, где о нем в конце концов поползли слухи как о «беспокойной сорвиголове, способной на колебание основ» (именно поэтому пришлось спешно перебраться из Смоленска в Орел), так и в Новгороде, только теперь уже на газетном поприще, начинаются привычные нелады с блюстителями порядка, с местными властями. Судя по всему, «актер Мерянский» так и не смог научиться обывательскому благоразумию, мимикрии, так и остался вольным, дерзким, неунывающим человеком. В том числе, между прочим, и в интимной области. Еще А в смоленской гимназии влюбчивого Нилку секли за переписку с воспитанницами женского училища. И впоследствии он не оказывался в нескромных и опасных донжуанских ситуациях 1 достойных мольеровского героя. Вот и теперь, в Новгороде, закоренелый поклонник женского пола и бонвиван, он женится на девушке сорока двумя годами его моложе. То была вторая женитьба Богдановского.

В качестве маленького постскриптума к биографии нашего героя не лишне, видимо, будет упомянуть, что своей необычной тягой к театру он отчасти обязан еще одному позабытому нашему земляку (о нем нет сведений даже в музее его родной гимназии) - старшему учителю российской словесности Константину Васильевичу Широкову. Один из лучших смоленских педагогов своего времени и вообще уважаемый в городе человек, Широков самозабвенно любил сценическое искусство и имел к нему немалые способности. Он был непререкаемым участником городских любительских спектаклей. Гимназист младших классов Богдановский с ума, бывало, сходил от учителя литературы, особенно когда тот играл сваху из гоголевской «Женитьбы». До конца дней Богдановского никто из профессиональных исполнителей этой роли так и не затмил в его памяти ширококовскую сваху. «Широков, сознаюсь, послужил самым главным основанием моему поступлению на сцену», сознается он в мемуарах. Богдановскому, в свою очередь, всегда хотелось и самому выступить перед бывшим учителем, однако когда спустя несколько лет, уже при губернаторе Лопатине, по случаю гастрольной поездки он снова оказался в Смоленске, Широкова уже не было на этом свете.

Как видим, смоленская гимназия все-таки оказала влияние на формирование личности и профессиональный выбор своего нелюбимого ученика - правда, совсем неожиданным для себя образом.